ГЮНТЕР ГРАСС

ЖЕСТЯНОЙ БАРАБАН

18+

Данцигская трилогия

Гюнтер Грасс

Жестяной барабан

«Альпина Диджитал»
1993

УДК 821.112.2-311.1
ББК 84(4Гем)-444

Грасс Г.

Жестяной барабан / Г. Грасс — «Альпина Диджитал», 1993 — (Данцигская трилогия)

ISBN 978-5-00-223190-4

Один из важнейших романов современности, вошедших в послевоенный канон европейской литературы, впервые был издан в 1959 году. Его герой – «маленький человек» Оскар Мацерат, детство которого приходится на годы зарождения национал-социализма. Осознавая абсурдность действительности, он решает перестать расти и отказывается становиться взрослым. Его постоянный спутник – жестяной барабан: отбивая на нем ритм, Оскар выражает свое отношение к окружающему. Безжалостным, саркастичным и в то же время проницательным взглядом наблюдателя «снизу» показана жизнь в Третьем рейхе, атмосфера мира обывателей, порождающая равнодушие ко все возрастающему страшному злу. Роман, в гротескной форме отразивший историю Германии XX века, принес своему автору мировую известность. …любовь не знает времени, а надежда не имеет конца, а вера не знает границ, лишь знание и незнание привязаны ко времени и к границам. Для кого Для широкого круга читателей, ценителей мировой классики. …индивидуальность безвозвратно утрачена, потому что человек одинок, каждый человек равно одинок, не имеет права на индивидуальное одиночество и входит в безымянную и лишенную героизма одинокую толпу.

УДК 821.112.2-311.1
ББК 84(4Гем)-444

ISBN 978-5-00-223190-4

© Грасс Г., 1993
© Альпина Диджитал, 1993

Содержание

Книга первая 9
Просторная юбка 9
Под плотами 16
Мотылек и лампочка 24
Фотоальбом 32
Стекло, стакан, стопарик 40
Конец ознакомительного фрагмента. 46

Гюнтер Грасс
Жестяной барабан

Переводчик: *Софья Фридлянд*
Дизайн обложки: *Петр Банков*
Издатель: *Павел Подкосов*
Главный редактор: *Татьяна Соловьёва*
Руководитель проекта: *Мария Ведюшкина*
Ассистент редакции: *Мария Короченская*
Художественное оформление и макет: *Юрий Буга*
Корректоры: *Татьяна Мёдингер, Ольга Смирнова*
Верстка: *Ольга Макаренко*

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© Günter Grass: Die Blechtrommel
© Steidl Verlag, Göttingen 1993 (1959)
© Günter und Ute Grass Stiftung, Lübeck
All rights reserved
© С. Л. Фридлянд (наследники), перевод, 1997
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2024

* * *

ГЮНТЕР ГРАСС

ЖЕСТЯНОЙ БАРАБАН

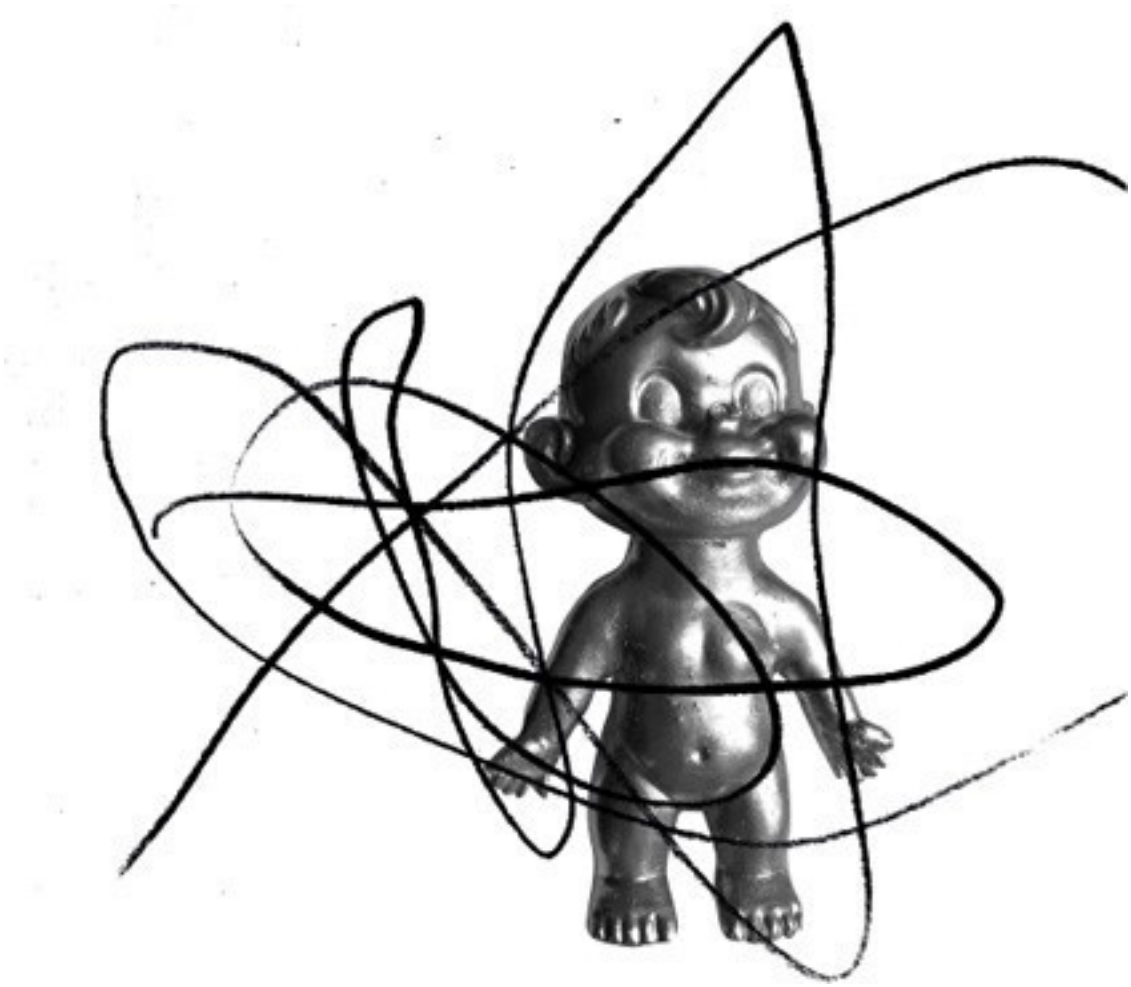
Перевод с немецкого С. Л. Фридлянд

альпина
ПРОЗА
Москва, 2024

Анне Грасс

Действующие лица и события в книге выдуманы автором.

Любое сходство с живыми либо умершими людьми является чисто случайным.



Книга первая

Просторная юбка

Не скрою: я пациент специального лечебного учреждения, мой санитар следит за мной, он почти не спускает с меня глаз, ибо в двери есть смотровое отверстие, а глаз моего санитара – он того карего цвета, который не способен видеть насквозь голубоглазого меня.

И следовательно, мой санитар никак не может быть моим врагом. Я даже полюбил его, этого соглядатая за дверью, и, едва он переступает порог моей комнаты, рассказываю ему всякие эпизоды из своей жизни, чтобы он узнал меня поближе, несмотря на помеху в виде смотрового глазка. Добряк, судя по всему, ценит мои рассказы, ибо стоит мне сочинить для него очередную побасенку, как он, желая выразить свою признательность, демонстрирует мне очередной, новейший образец своего рукоделия. Оставим в стороне вопрос, можно назвать его художником или нет, хотя не исключено, что выставка его творений стяжала бы одобрительные отклики в прессе и даже привлекла бы несколько покупателей. Он вывязывает из обыкновенной бечевки, которую подбирает и затем распутывает в палатах у своих пациентов, когда тех покинут посетители, многоузловых чудищ, затем обмакивает их в гипс, дает высохнуть и накалывает на вязальные спицы, укрепленные на деревянных брусочках.

Порой он носится с мыслью делать свои творения цветными, но я его отговариваю. Я указываю на мою крытую белым лаком металлическую кровать и прошу его мысленно представить себе это совершенство в размалеванном виде. Тогда он в ужасе всплескивает над головой своими санитарскими руками, пытается одновременно выразить на своем несколько неподвижном лице все мыслимые формы ужаса и отрекается от своих многоцветных планов. Итак, моя казенная, металлическая, крытая белым лаком кровать служит образцом. Для меня она даже нечто большее: моя кровать – это наконец-то достигнутая цель, мое утешение, она могла бы стать моей верой, дозволь начальство моего заведения предпринять некоторые усовершенствования: я бы сделал повыше решетку кровати, чтоб никто не подходил ко мне слишком близко.

Один раз в неделю день посещений разрывает мою переплетенную белыми металлическими прутьями тишину. Тогда приходят они, те, кто желает меня спасти, те, кому доставляет удовольствие любить меня, те, кто ценит, уважает и хотел бы поближе узнать во мне самих себя. До чего ж они слепы, неврастеничны, невоспитанны. Они царапают маникюрными ножницами по белому лаку моей решетки, они рисуют ручками и синим карандашом продолговатых непристойных человечков. Мой адвокат, взрывая комнату громогласным «Привет!», всякий раз напяливает свою нейлоновую шляпу на левый столбик в изножье кровати. И ровно на столько, сколько продолжается его визит, – а адвокаты могут говорить долго, – он подобным актом насилия лишает меня равновесия и бодрости духа.

После того как посетители разложили свои гостинцы на белой, крытой клеенкой тумбочке под акварелью с анемонами, после того как им удалось поведать мне о своих текущих либо планируемых идеях по спасению и убедить меня, кого они без устали рвутся спасать, в высоком уровне своей любви к ближнему, их снова начинает тешить собственное бытие, и они прощаются со мной. Затем приходит санитар – проветрить и собрать бечевку от пакетов с гостинцами. Нередко у него еще остается время, чтобы, присев после этого на мою кровать и распутывая бечевку, распространять вокруг себя тишину до тех пор, пока я не начинаю называть тишину именем Бруно, а Бруно – тишиной.

Бруно Мюнстерберг – я имею в виду своего санитара – на мои деньги купил мне пятьсот листов писчей бумаги. Бруно, неженатый, бездетный и родом из Зауэрланда, готов, если запасов не хватит, снова наведаться в маленькую лавчонку писчебумажных товаров, где торгуют

также и детскими игрушками, дабы обеспечить меня необходимой, нелинованной площадью для моей, будем надеяться, надежной памяти. Никоим образом не мог бы я попросить об этой услуге своих визитеров, скажем адвоката или Клеппа. Хлопотливая, прописанная мне любовь наверняка не позволила бы моим друзьям приносить с собой нечто столь опасное, как бывает опасна чистая бумага, и предоставлять ее в распоряжение моему непрерывно извергающему слова духу.

Когда я сказал Бруно: «Ах, Бруно, не купишь ли ты мне пятьсот листов невинной бумаги?» – тот возвел глаза к потолку и, воздев в том же направлении указательный палец, что невольно устремляло мысли к небесам, ответил: «Вы подразумеваете белую бумагу, господин Оскар?»

Я остался при своем словечке «невинная» и попросил Бруно употребить в лавочке именно его. Вернувшись ближе к вечеру с пачкой, он предстал передо мой как Бруно, обуреваемый мыслями. Многократно и подолгу задерживал он взгляд на потолке, откуда черпал все свои откровения, и немного спустя высказался: «Вы порекомендовали мне должное слово. Я попросил у них невинной бумаги, и продавщица сперва залилась краской и лишь потом выполнила мою просьбу».

Опасаясь затяжной беседы о продавщицах писчебумажных лавок, я раскаялся, что назвал бумагу невинной, а потому молчал, дожидаясь, когда Бруно выйдет из комнаты, и лишь после этого вскрыл упаковку, содержащую пятьсот листов бумаги.

Я не стал слишком долго держать и взвешивать на руке упругую, неподатливую пачку. Я отсчитал десять листов, запрятал в тумбочку остальные, авторучку я обнаружил в ящике рядом с альбомом фотографий; ручка заправлена, недостатка в чернилах быть не должно, как же мне начать?

При желании рассказ можно начать с середины и, отважно двигаясь вперед либо назад, сбивать всех с толку. Можно работать под модерниста, отвергнуть все времена и расстояния, дабы потом возвестить самому или передоверить это другим, что наконец-то только что удалось разрешить проблему пространства и времени. Еще можно в первых же строках заявить, что в наши дни вообще нельзя написать роман, после чего, так сказать, у себя же за спиной сотворить лихой триллер, чтобы в результате предстать перед миром как единственно мыслимый сегодня романист. Я выслушивал также слова о том, что это звучит хорошо, что это звучит скромно, когда ты для начала заявляешь: нет больше романных героев, потому что нет больше индивидуальностей, потому что индивидуальность безвозвратно утрачена, потому что человек одинок, каждый человек равно одинок, не имеет права на индивидуальное одиночество и входит в безымянную и лишенную героизма одинокую толпу. Так оно, пожалуй, и есть и имеет свой резон. Но что касается меня, Оскара, и моего санитара Бруно, я бы хотел заявить: мы с ним оба герои, герои совершенно различные, он – за смотровым глазком, я – перед глазком; и даже когда он открывает мою дверь, мы оба, при всей нашей дружбе и одиночестве, отнюдь не превращаемся в безымянную, лишенную героизма толпу.

Я начинаю задолго до себя, поскольку никто не смеет описывать свою жизнь, если он не обладает достаточным терпением, чтобы, перед тем как наметить вехи собственного бытия, не упомянуть, на худой конец, хоть половину своих дедов и бабок. Позвольте же мне всем вам, мои друзья и мои еженедельные посетители, принужденным вести запутанную жизнь за стенами моего специализированного лечебного учреждения, всем вам, даже и не подозревающим о моих запасах писчей бумаги, представить бабку Оскара с материнской стороны.

Моя бабка Анна Бронски сидела на исходе октябрьского дня в своих юбках на краю картофельного поля. До обеда можно было наблюдать, как бабка умело сгребает вялую ботву в аккуратные бурты, к обеду она съела подслащенный сиропом кусок хлеба с жиром, затем последний раз промотыжила поле и, наконец, осела в своих юбках между двух почти доверху наполненных корзин. Рядом с подметками ее сапог, что стояли торчком, устремясь носками

друг к другу, тлел костерок из ботвы, порой астматически оживая и старательно рассылая дым понизу над едва заметным уклоном земной коры. Год на дворе был девяносто девятый, а сидела бабка в самом сердце Кашубской земли, неподалеку от Биссау, до еще того ближе к кирпичному заводу перед Рамкау, за Фиреком, где шоссе между Диршау и Картхаусом вело на Брентау; сидела спиной к черному лесу Гольдкруг и обугленной на конце ореховой хворостиной заталкивала картофелины под горячую золу.

Если я только что с особым нажимом помянул юбки моей бабушки, если я, будем надеяться, вполне отчетливо сказал: «Она сидела в своих юбках», да и главу назвал «Просторная юбка», значит, мне известно, чем я обязан этой части одежды. Бабка моя носила не одну юбку, а целых четыре, одну поверх другой. Причем она не то чтобы носила одну верхнюю и три нижних юбки, нет, она носила четыре так называемых верхних, каждая юбка несла на себе следующую, сама же бабка носила юбки по определенной системе, согласно которой их последовательность изо дня в день менялась. То, что вчера помещалось на самом верху, сегодня занимало место непосредственно под этим верхом, вторая юбка оказывалась третьей, то, что вчера было третьей юбкой, сегодня прилегало непосредственно к телу, а юбка, вчера самая близкая к телу, сегодня выставляла на свет свой узор, вернее, отсутствие такового: все юбки моей бабушки Анны Бронски предпочитали один и тот же картофельный цвет – не иначе этот цвет был ей к лицу.

Помимо такого отношения к цвету юбки моей бабушки отличал непомерный расход ткани. Они с размахом круглились, они топорщились, когда задувал ветер, сникали, когда ветер отступал, трепетали, когда он уносился прочь, и все четыре летели перед моей бабкой, когда ветер дул ей в спину. А усевшись, она группировала все четыре вокруг себя.

Помимо четырех постоянно раздутых, обвисших, падающих складками либо пустых, стоящих колом возле ее кровати, бабка имела еще и пятую юбку. Эта пятая решительно ничем не отличалась от прочих четырех картофельного цвета. К тому же пятой юбкой не всегда была одна и та же пятая юбка. Подобно своим собратьям – ибо юбки наделены мужским характером, – она тоже подвергалась замене, входила в число четырех надеванных и, подобно всем остальным, когда наставал ее черед, то есть каждую пятую пятницу, шла прямиком в корыто, по субботам висела на веревке за кухонным окном, а потом ложилась на гладильную доску.

Когда моя бабка после такой приборочно-пирогово-стирально-гладильной субботы, после дойки и кормления коровы целиком погружалась в лохань, сообщала что-то мыльному раствору, потом давала воде снова опасть, чтобы в цветастой простыне сесть на край постели, перед ней на полу пластались четыре надеванные юбки и одна свежевыстиранная. Бабка подпирала указательным пальцем правой руки нижнее веко правого глаза, ничьих советов не слушала, даже своего брата Винцента и то нет, а потому быстро принимала решение. Стоя босиком, она пальцами ноги отталкивала в сторону ту юбку, которая больше других утратила блеск набивной картофельной краски, а освободившееся таким образом место занимала свежевыстиранная.

Во славу Иисуса, о котором у бабки были вполне четкие представления, воскресным утром для похода в церковь в Рамкау бабка обновляла измененную последовательность юбок. А где же бабка носила стираную юбку? Она была женщина не только опрятная, она была женщина тщеславная, а потому и выставляла лучшую юбку напоказ, да еще по солнышку, да при хорошей погоде!

Но у костерка, где пеклась картошка, бабка моя сидела после обеда в понедельник. Воскресная юбка в понедельник стала ей на один слой ближе, а та, что в воскресенье согревалась теплом ее кожи, в понедельник с самым понедельничным видом тускло облекала ее бедра. Бабка насвистывала, не имея в виду какую-нибудь песню, и одновременно выгребала из золы ореховой хворостиной первую испекшуюся картофелину. Картофелину бабка положила подальше, возле тлеющей ботвы, чтобы ветер мог овеять и остудить ее. Затем острый сук

наколол подгорелый, с лопнувшей корочкой клубень и поднес его ко рту, и рот теперь перестал свистеть, а вместо того начал сдувать золу и землю с зажатой между пересохшими, треснувшими губами кожуры, при этом бабушка прикрыла глаза. Потом же, решив, что сдула сколько надо, она открыла сперва один, потом другой глаз, куснула хотя и редкими, но в остальном безупречными резцами, снова раздвинула зубы, держа половинку слишком горячей картофелины, мучнистой и курящейся паром, в распахнутом рту и глядя округленными глазами поверх раздутых, выдыхающих дым и окружающий воздух ноздрей на поле до близкого горизонта с рассекающими его телеграфными столбами и на верхнюю треть трубы кирпичного завода.

Между телеграфных столбов что-то двигалось. Бабушка закрыла рот, поджала губы, прищурила глаза и пожевала картофелину. Что-то двигалось между телеграфных столбов. Что-то там прыгало. Трое мужчин скакали между телеграфных столбов, трое летели к трубе, потом обежали ее спереди, а один, с виду короткий и широкий, повернул, разбежался по новой и перемахнул через штабеля кирпичей, а двое других, тощие и длинные, не без труда, но тоже перемахнули через кирпичи и опять припустили между столбов, а широкий и короткий петлял, как заяц, и явно спешил больше, чем тощие и длинные, чем те прыгуны, а тем двум пришлось снова броситься к трубе, потому что короткий уже перемахнул через нее, когда те на расстоянии в два прыжка от него еще только разбегались и вдруг исчезли, махнув рукой, – так это все выглядело со стороны, да и короткий на середине прыжка рухнул с трубы за горизонт.

Там они все и остались, сделали перерыв, или, может быть, переоделись, или начали ровнять свежие кирпичи, получая за это жалованье.

Когда же моя бабка, решив воспользоваться перерывом, хотела наколоть вторую картофелину, она промахнулась. Потому как тот, что вроде был широкий и короткий, перелез в том же обличье через горизонт, будто через обычный забор, будто оставив обоих преследователей по ту сторону забора, между кирпичей, либо на шоссе на Брентау, но все равно он очень спешил, хотел обогнать телеграфные столбы, совершал длинные, замедленные прыжки через поле, так что от его ног во все стороны разлетались комья грязи, а сам он выпрыгивал прочь из этой грязи, и как размашисто он прыгал, так же упорно лез он и по глине. Иногда он, казалось, прилипает ногами, потом зависает в воздухе ровно настолько, чтобы хватило времени ему, короткому и широкому, утереть лоб, прежде чем снова упереться опорной ногой в то свежевспаханное поле, которое всеми своими бороздами вместе с пятью моргенами под картофель сбегало в овраг.

И он добрался до оврага, короткий и широкий, но едва исчез в нем, как оба других, тощие и длинные, которые, вероятно, успели тем временем заглянуть на кирпичный завод, тоже перевалили через линию горизонта и начали оба, тощие и длинные, но не сказать чтобы худые, вязнуть в глине, из-за чего бабка моя опять не смогла наколоть картофелину, потому что не каждый день можно увидеть, как трое взрослых людей, хоть и разного роста, скачут между телеграфных столбов, чуть не обламывают трубу на кирпичном заводе и потом друг за дружкой, сперва короткий и широкий, потом тощие и длинные, но все трое с одинаковым трудом, упорно, таща все больше глины на подметках, скачут во всем параде по полю, вспаханному два дня назад Винцентом, и исчезают в овраге.

Итак, все трое исчезли, и моя бабка могла наконец перевести дух и наколоть почти остывшую картофелину. Она небрежно сдула с кожуры землю и золу, целиком засунула картофелину в рот, подумала, если, конечно, вообще о чем-нибудь думала: они не иначе как с кирпичного, – и начала двигать челюстями, когда один выскочил из овражка, над черными усами дико сверкнули глаза, сделал два прыжка – до костра, возник сразу и перед, и сзади, и рядом с костром, выругался, задрожал от страха, не знал, куда бежать, – назад нельзя, потому что сзади надвигались из овражка тощие и длинные, – и рухнул на колени, и глаза его чуть не выскочили из орбит, и пот выступил на лбу. Задыхаясь, с дрожащими усами, он позволил себе подползти поближе, доползти до самых ее подметок, почти вплотную подполз он к бабке, поглядел на нее, словно

маленький и широкий зверь, так что бабка вздохнула, перестала жевать, опустила подметки на землю, не думала больше ни о заводе, ни о кирпичах, ни об обжигальщиках, ни о закладчиках, а просто-напросто подняла юбку, нет, подняла сразу все четыре, подняла достаточно высоко, чтобы тот, который был вовсе не с кирпичного, короткий, но широкий, мог юркнуть под них, под все четыре, и он скрылся вместе со своими усами, и не походил больше на зверя, и был не из Рамкау и не из Фирека, а был заодно со своим страхом под юбками, и больше не падал на колени, и стал не коротким и не широким, и, однако же, занял свое место, забыл про дрожь, и про пыхтение, и про руку на колене, и стало тихо, как в первый день, а может, как в день последний, слабый ветерок лепетал в тлеющей ботве, телеграфные столбы беззвучно рассчитывались на первый-второй, трубы кирпичного завода вернулись в исходное положение, она же, моя бабка, благоразумно разгладила первую юбку поверх второй, почти не чувствовала его под четвертой юбкой и вместе со своей третьей юбкой никак не могла взять в толк, что там совершается нового и удивительного для ее кожи. И поскольку это было удивительно, хотя поверху все лежало вполне благопристойно, а во-вторых и в-третьих, нельзя было взять в толк, она выгребла из золы две-три картофелины, достала из корзины, что под правым локтем, четыре сырых, по очереди сунула каждую сырую бульбу в горячую золу, присыпала сверху еще больше золы, поворошила, отчего костер вновь начал чадить, – а что ей еще оставалось делать?

Но едва юбки моей бабушки успокоились, едва густой чад тлеющей ботвы, сбитый с толку сильным падением на колени, переменой места и помешиванием, снова желтизной заволок поле и, сообразуясь с направлением ветра, пополз на юго-запад, как из оврага выплюнуло обоих тощих и длинных, которые гнались за коротким и широким, обитающим ныне под ее юбками, и тут выяснилось, что они худые, длинные и по долгу службы носят мундиры полевой жандармерии.

Они чуть не промчались мимо бабки. Никак один из них перемахнул через костерок? Но вдруг они спохватились, что на них форменные сапоги, а стало быть, есть чем думать, притормозили, повернулись, затопали сапогами – оказались при сапогах и мундирах в дыму, кашляя, спасли мундиры из дыма, увлекая дым за собой, не перестали кашлять, заговорили с моей бабкой и поинтересовались, не видела ли она Коляйчека, потому что она непременно должна была его видеть, раз она сидит здесь у оврага, а Коляйчек как раз ушел по оврагу.

Бабка моя Коляйчека не видела, потому что никакого Коляйчека не знала. Она спросила, не с кирпичного ли он, часом, завода, потому что никого, кроме тамошних, она не знает. Мундиры описали ей Коляйчека как человека, который не имеет к кирпичному никакого отношения, а из себя короткий и широкий. Бабка вспомнила, что вроде бы видела, как бежал один такой, и, определяя направление побега, указала дымящейся картофелиной на остром суку в направлении Биссау, которое, если верить картофелине, лежало, считая от завода, между шестым и седьмым столбами. Но был ли этот бегун Коляйчек, моя бабка не знала, она извинилась за свою неосведомленность, сославшись на огонь, что тлел перед подошвами ее сапог: у нее-де и без того хватает с ним хлопот, он горит еле-еле, вот почему ее не занимают люди, которые пробегают мимо либо стоят и глотают дым, а уж тем паче ее не занимают люди, которых она не знает, ей известны лишь те, кто из Биссау, Рамкау, Фирека или с кирпичного, с нее и довольно.

Сказав эти слова, бабка вздохнула, слегка, но достаточно громко, так что мундиры полюбопытствовали, с чего это она так развздыхалась. Она кивком указала на свой костерок, очевидно, в том смысле, что вздыхает она из-за слабого огня да малость из-за людей в дыму, потом откусила своими редкими резцами половину картофелины, всецело отдавшись жеванию, а глаза закатила вверх и налево.

Мундиры полевой жандармерии решительно не могли истолковать отсутствующий взгляд бабки, не знали, стоит ли поискать за телеграфными столбами в направлении Биссау,

и поэтому время от времени тыкали своими карабинами в соседние, еще не занявшиеся кучи ботвы. Потом, следуя внезапному побуждению, разом опрокинули обе полные корзины, что стояли под локтями у бабки, и никак не могли уразуметь, почему из плетенок покатились им под ноги сплошь картофелины, а никакой не Коляйчек. Исполненные недоверия, они обошли картофельные бурты, словно Коляйчек мог за такое короткое время укрыться соломкой на зиму, они кололи уже с умыслом, но так и не дождались крика проколотого. Их подозрения устремлялись даже на самый чахлый кустарник, на каждую мышиную норку, на целую колонию кротовых холмиков и – снова и снова – на мою бабку, которая сидела, словно приросши к месту, испускала вздохи, закатывала глаза, но так, чтобы белок оставался виден, перечисляла имена всех кашубских святых, но слабо тлеющий костерок и две опрокинутые корзины навряд ли могли объяснить слишком скорбные и слишком громкие вздохи.

Мундиры простояли около бабки с полчаса, не меньше. Порой они стояли поодаль, порой ближе к огню, прикидывали на глаз расстояние до трубы кирпичного завода, намеревались прихватить и Биссау, но отсрочили атаку, подержали над огнем лиловые руки, пока не получили от моей бабки, которая все так же непрерывно вздыхала, каждый по лопнувшей картофелине на палочке. Но в процессе пережевывания мундиры вспомнили, что носят мундиры, отбежали на расстояние брошенного камня через поле, вдоль стеблей дрока по краю оврага, спугнули зайца, который тоже не был Коляйчеком. У костра они снова обнаружили мучнистые, исходящие горячим паром бульбы, а потому из миролюбия и слегка утомясь приняли решение снова покидать картошку в корзины, опрокинуть которые сочли ранее своим долгом.

Лишь когда вечер выдавил из октябрьского неба тонкий, косой дождь и чернильные сумерки, они торопливо и без всякой охоты совершили атаку на темнеющий вдали межевой камень, но после этого броска отказались от дальнейших попыток. Еще недолго переминались с ноги на ногу, благословляющим жестом подержали руки над полузалитым, во все стороны чадящим костерком, еще закашлялись от зеленого дыма, залились слезой от дыма желтого, потом с кашлем и слезами сапоги двинулись в сторону Биссау… Раз Коляйчека здесь нет, значит, Коляйчек в Биссау. Полевые жандармы всегда допускают лишь две возможности.

Дым от медленно умирающего огня окутал мою бабку наподобие пятой юбки, до того просторной, что бабка в своих четырех юбках, со вздохами и с именами всех святых на устах, тоже оказалась под юбкой, словно Коляйчек. Лишь когда мундиры обратились в подпрыгивающие точки, медленно уходящие в вечер между телеграфными столбами, бабка поднялась, да с таким трудом, словно успела за это время пустить корни, а теперь, увлекая за собой корешки и комья земли, прерывает едва начавшийся процесс роста.

Коляйчеку стало холодно, когда внезапно он оказался без крыши, под дождем, широкий и короткий. Он поспешно застегнул штаны, которые страх и безграничная потребность в укрытии повелели ему держать под юбкой в расстегнутом виде. Опасаясь слишком быстрого охлаждения своего прибора, он торопливо пробежал пальцами по пуговицам, ибо в такую погоду легче легкого подцепить осеннюю простуду.

Бабка моя обнаружила под золой еще четыре горячие картофелины. Три из них она дала Коляйчеку, одну – самой себе и, прежде чем надкусить свою, еще спросила, не с кирпичного ли он завода, хотя уже могла бы понять, что Коляйчек взялся не с кирпичного, а из другого места. Потом она, не обращая внимания на его ответ, взвалила на него корзинку, что полегче, сама согнулась под той, что тяжелее, одна рука у нее осталась свободной для граблей и для мотыги, и в своих четырех юбках, помахивая корзиной, картошкой, граблями и мотыгой, двинулась по направлению Биссау-Аббау.

Собственно, это было не само Биссау. Это было скорее в направлении Рамкау. Кирпичный завод они оставили по левую руку, двигаясь к черному лесу, где располагался Гольдкруг, а за ним уже шло Брентау. Но перед лесом в ложбине как раз и лежало Биссау-Аббау. Вот

туда и последовал за моей бабкой короткий и широкий Йозеф Коляйчек, который уже не мог расстаться с четырьмя юбками.

Под плотами

Отнюдь не так просто, лежа здесь, на промытой мылом металлической кровати специального лечебного заведения, под прицелом стеклянного глазка, оснащенного взглядом Бруно, воспроизвести полосы дыма над горящей кашубской ботвой да пунктирную сетку октябрьского дождя. Не будь у меня моего барабана, который, при умелом и терпеливом обращении, вспомнит из второстепенных деталей все необходимое для того, чтобы отразить на бумаге главное, и не располагай я санкцией заведения на то, чтобы от трех до четырех часов ежедневно предоставлять слово моей жестянке, я был бы разнесчастный человек без документально удостоверенных деда и бабки.

Во всяком случае барабан мой говорит следующее: в тот октябрьский день года девяносто девятого, покуда дядюшка Крюгер в Южной Африке с помощью щетки взбивал свои кустистые англофобские брови, между Диршау и Картхаусом, неподалеку от кирпичного завода в Биссау, под четырьмя одноцветными юбками в чаду, страхах, стонах, под косым дождем и громким поминанием всех святых, под скудоумные расспросы и затуманенные дымом взоры двух полевых жандармов короткий, но широкий Йозеф Коляйчек зачал мою мать Агнес.

Анна Бронски, моя бабушка, успела еще под черным покровом той же ночи переменить имя: она позволила стараниями щедро расточающего святые дары патера переименовать себя в Анну Коляйчек и последовала за своим Йозефом хоть и не совсем в Египет, но все же в центральный город провинции, что на реке Моттлау, где Йозеф нашел работу плотогона, а вдобавок – правда, на время – укрылся от жандармов.

Лишь с тем, чтобы несколько усилить напряжение, я покамест не называю город в устье Моттлау – хотя он вполне заслуживает упоминания по меньшей мере как то место, где родилась моя матушка. Под конец июля в году ноль-ноль – тогда как раз было принято решение удвоить кайзеровскую программу по строительству военного флота – моя матушка под знаком Льва явилась на свет. Вера в себя и мечтательность, великодушие и тщеславие. Первый дом, именуемый также Domus vitae[1], асцендент: впечатлительные Рыбы. Констелляция такая: Солнце в оппозиции к Нептуну, седьмой дом, или Somus matrimonii uxoris[2], сулит осложнения. Венера в оппозиции к Сатурну, который, насколько известно, вызывает заболевания печени и селезенки, именуется «кислой» планетой, властвует в Козероге и празднует поражение во Льве, который потчует Нептуна угрями, а взамен получает крота, который любит красавку, лук и свеклу, изрыгает лаву и подбавляет кислоты в вино; совместно с Венерой он обитал в восьмом доме, доме смерти, навевал мысли о беде, в то время как зачатие на картофельном поле сулило дерзновеннейшее счастье под покровительством Меркурия в доме родственников.

Здесь я не могу не вставить протест матушки, которая во все времена решительно отрицала, что была зачата на картофельном поле. Правда, ее отец – это она не могла не признать – уже там предпринял первые попытки, но само его положение, равно как и поза Анны Бронски, были слишком неудачно выбраны, чтобы создать Коляйчеку необходимые условия для оплодотворения.

– Думаю, это случилось в ночь бегства или на возу у дяди Винцента, а то и вовсе на Троиле, когда мы нашли у сплавщиков прибежище и кров. – Такими речами матушка обычно датировала свое зачатие, и бабушка, кому, казалось бы, следует это лучше знать, кротко кивала и сообщала миру:

– Само собой, донюшка, твоя правда, не иначе на возу это было, а то и вовсе на Троиле, только уж никак не на поле, тогда и ветер дул, и дождь лил как из ведра.

---

[1] Дом жизни (*лат.*).

[2] Дом семейный/супружеский (*лат.*).

Винцентом звали брата моей бабки. Рано овдовев, он совершил паломничество в Ченстохову, и Матка Боска Ченстоховска повелела ему признать ее будущей королевой Польши.

С той поры Винцент только и делал, что рылся в диковинных книгах, отыскивал в каждой фразе подтверждение прав Богоматери на польский престол, а сестре передоверил все хлопоты по двору и полю. Сын Винцента Ян, в то время четырех лет от роду, хилый, плаксивый мальчишка, пас гусей, собирал пестрые картинки и – на удивление рано – почтовые марки.

Вот на этот самый двор, благословенный небесной королевой Польши, бабка доставила корзины с картофелем, а заодно – и Коляйчека, таким образом, Винцент тоже узнал, что произошло, а узнав, помчался в Рамкау и там принялся барабанить в дверь к патеру, дабы тот, вооружась святыми дарами, вышел и обручил девицу Анну с Йозефом. Не успел еще заспанный служитель Бога преподать свое благословение, чрезмерно затянувшееся из-за неудержимой зевоты, и, вознагражденный хорошим шматом сала, обратить к публике свою священную спину, как Винцент запряг свою кобылу, разместил новобрачных на соломе и пустых мешках, усадил озябшего и хнычущего Яна возле себя на козлы, после чего сказал лошади, чтобы та ехала, никуда не сворачивая, прямо, в ночь: новобрачные торопились.

Среди все еще темной, но уже изрядно поистраченной ночи наши ездоки достигли лесоторгового порта, что лежал в главном городе провинции. Дружки, которые, подобно Коляйчеку, сплавляли плоты, приняли парочку беглецов. Винцент мог повернуть и гнать свою конягу назад в Биссау; корова, коза, свинья с поросятами, восемь гусей и дворовая собака ждали, когда им зададут корм, а сын Ян ждал, когда его уложат в постель, потому что у него была небольшая температура.

Йозеф Коляйчек скрывался три недели, приучил свои волосы к другой прическе, с пробором, сбрил усы, обзавелся безупречными бумагами и получил работу как плотогон Йозеф Вранка. Но зачем понадобилось Коляйчеку предъявлять лесоторговцам и хозяевам лесопилок документы на имя сброшенного – о чем власти не были проинформированы – во время драки с плота и утонувшего в Буге пониже Модлина Йозефа Вранки? А затем, что Коляйчек, некоторое время назад покинувший сплавное дело, работал на лесопильне под Швецем и там повздорил с мастером из-за вызывающе размалеванного в бело-красный цвет его, Коляйчека, рукой забора. И чтобы некоторым образом придать убедительность своим забористым ругательствам, хозяин выломил из забора две планки, одну красную, другую белую, измочалил сугубо польские планки о кашубскую хребтину Коляйчека, отчего возникло такое количество щепок для растопки, что избитый счел себя совершенно вправе в следующую же, скажем так, яснозвездную ночь пустить красного петуха на свежевыстроенную и чисто выбеленную лесопильню, во славу хоть и разделенной, но именно из-за раздела единой Польши.

Итак, Коляйчек был поджигатель, поджигатель-рецидивист, ибо в последовавший затем период лесопильни и дровяные склады по всей Западной Пруссии служили отличной растопкой для двухцветья национальных чувств. И, как всякий раз, когда речь идет о будущем Польши, Дева Мария была и во время этих пожаров на стороне поляков, есть даже очевидцы, причем некоторые, возможно, живы и по сей день, своими глазами видевшие увенчанную короной Богоматерь на горящих стропилах многих лесопилен. А толпа, которая всегда собирается при больших пожарах, якобы запевала хорал во славу Богородицы, Матери Божией, – отсюда нетрудно предположить, что на Коляйчековых пожарах царила торжественная обстановка и приносились клятвы.

И сколь отягощен прошлым был разыскиваемый поджигатель Коляйчек, столь беспорочен, бесприютен, безобиден, слегка ограничен, никем на свете не разыскиваем, почти никому не известен был плотовщик Йозеф Вранка, регулярно деливший свой жевательный табак на ежедневные порции, покуда река Буг не приняла его в свои воды, а три дневные пайки табака остались у него в куртке вместе с документами. Поскольку утонувший Вранка никак не мог объявиться вновь и никто не задавал заковыристых вопросов по поводу его исчезновения,

Коляйчек, имевший примерно ту же стать и такой же круглоголовый, как и утопленник, залез поначалу в его куртку, потом в его официально-документальную с незапятнанным прошлым шкуру, отучился курить трубку, перешел на жевательный табак, позаимствовал даже сугубо личные черты Вранки, дефекты произношения к примеру, и все последующие годы изображал надежного, бережливого, малость заикающегося плотогона, который пускал вплавь по воде целые леса с берегов Немана, Бобра, Буга и Вислы. Остается лишь добавить, что этот Вранка у лейб-гусар кронпринца, возглавляемых Маккензеном, дослужился до ефрейтора, поскольку настоящий Вранка на службе еще не был, тогда как Коляйчек, четырьмя годами старше, чем утонувший, уже успел очень плохо проявить себя у артиллеристов под Торном.

Наиболее опасная часть всех грабителей, убийц и поджигателей, еще не перестав грабить, убивать и поджигать, ждет, когда подвернется возможность заняться делом более почтенным. И многим выпадает шанс – иногда отысканный, иногда случайный: Коляйчек, став Вранкой, стал одновременно хорошим и настолько исцеленным от своего огневого порока супругом, что его приводил в дрожь даже вид обычной спички. Спичечные коробки, свободно и безмятежно лежавшие на кухонном столике, никогда не были застрахованы от его посягательств, хотя, казалось бы, именно он способен изобрести спички. Подобное искушение он выбрасывал в окно. Бабке приходилось очень стараться, чтобы вовремя подать на стол теплый обед. Порой семья и вовсе сидела в потемках, потому что керосиновая лампа осталась без огня.

И однако Вранка вовсе не был тираном. По воскресеньям он водил свою Анну в Нижний город и при этом позволял ей, обрученной с ним также и официально, надевать, как тогда, на картофельном поле, четыре юбки, одну поверх другой. Зимой, когда реки затягивались льдом и для плотогонов наступали тощие времена, он исправно сидел в Троиле, где жили лишь плотогоны, грузчики да рабочие с верфи, и присматривал за своей дочкой Агнес, которая явно уродилась в отца, потому что если и не залезала под кровать, то уж, верно, забиралась в платяной шкаф, а когда приходили гости, забивалась под стол, и вместе с ней ее тряпичные куклы.

Итак, девочка Агнес любила укрываться от глаз и в этом укрытии чувствовала себя столь же надежно, как и Йозеф, хоть и находила там иные радости, нежели те, которые нашел он под юбками у Анны. Поджигатель Коляйчек был достаточно опытен, чтобы понять тягу своей дочери к укрытиям, и поэтому на заменяющем балкон выступе, которым завершалась их полуторакомнатная квартира, он, когда мастерил закут для кроликов, пристроил к нему еще и конурку как раз по ее росту. В этой пристройке матушка моя ребенком сидела, играла в куклы и тем временем подрастала. Позднее, уже школьницей, она, по рассказам, забросила своих кукол и, забавляясь стеклянными бусинами и пестрыми шариками, впервые проявила тягу к хрупкой красоте.

Надеюсь, мне, горящему желанием поскорее обозначить истоки собственного бытия, будет дозволено снять наблюдение с семейства Вранка, чей супружеский плот спокойно скользит по течению, вплоть до тринадцатого года, когда под Шихау сошел со стапелей «Колумб», ибо именно в тринадцатом полиция, которая никогда ничего не забывает, напала на след лже-Вранки.

Началось с того, что Коляйчек, как на исходе каждого лета, так и в августе тысяча девятьсот тринадцатого, должен был перегонять большой плот из Киева по Припяти, через канал по Бугу до Модлина, а уж оттуда вниз по Висле. Дюжина плотогонов вышла на буксире «Радауна», который дымил по велению их лесопильни, от Западного Нойфера на Мертвую Вислу до Айнлаге. Потом вверх по Висле мимо Кеземарка, Лецкау, Чаткау, Диршау и Пикеля и вечером пристала к берегу в Торне. Там на борт поднялся новый хозяин, который должен был в Киеве проследить за покупкой древесины. Когда «Радауна» в четыре утра отчалила, стало известно, что на борту хозяин. Коляйчек впервые увидел его за завтраком на баке. Они сидели как раз друг против друга, жевали и прихлебывали ячменный кофе, Коляйчек сразу его узнал.

Кряжистый, уже облысевший человек велел подать водки и разлить ее по пустым кофейным чашкам. Не переставая жевать, когда в конце бака еще разливали водку, он представился:

– Чтоб вы знали: я новый хозяин, звать меня Дюкерхоф, и я требую от всех порядка!

По требованию хозяина плотогоны в той последовательности, в какой сидели за столом, называли себя и опрокидывали свои чашки, так что кадыки подпрыгивали. Коляйчек же сперва опрокинул, потом сказал: «Вранка», пристально глядя на Дюкерхофа. Тот кивнул, как кивал и предыдущим, и повторил: «Вранка», как повторял и имена других сплавщиков. И все же Коляйчеку почудилось, будто Дюкерхоф выделил имя утонувшего плотогона не то чтобы резко, скорее задумчиво.

Искусно уклоняясь от песчаных отмелей при помощи сменяющих друг друга лоцманов, «Радауна» одолевала мутно-глинистую струю, знающую лишь одно направление. По левую и правую руку за валами лежала одна и та же плоская либо чуть всхолмленная земля, с которой уже собрали урожай. Живые изгороди, овраги, котловина, поросшая дроком, равнина между хуторами, прямо созданная для кавалерийских атак, для заходящей слева на ящике с песком уланской дивизии, для летящих через изгородь гусар, для мечтаний молодых ротмистров, для битвы, которая уже состоялась и повторится вновь и вновь, и для полотна: татары, припавшие к луке, драгуны, выпрямясь, рыцари-меченосцы, падая на скаку, орденские магистры в цветных плащах, на кирасе целы все застежки, кроме одной-единственной, которую отсек герцог Мазовецкий, и кони, кони – ни в одном цирке не сыщешь таких арабских скакунов, – нервные, под великолепными темляками, все жилки натянуты, как по линеечке, ноздри раздуты, карминовые, из них облачка, пронзаемые копьями, на копьях перевязь, пики опущены и делят небо, вечернюю зарю, еще сабли, а там, на заднем плане – ибо у каждой картины есть свой задний план, – прочно прильнув к горизонту, мирно курится деревенька между задними ногами вороного, приземистые хатки, обросшие мхом, крытые соломой, а в хатках – танки, красивые, законсервированные, в ожидании грядущих дней, когда им тоже дозволят возникнуть на этом полотне, на этой равнине, за дамбами Вислы, подобно легконогим жеребятам среди тяжелой кавалерии.

У Влоцлавека Дюкерхоф ткнул Коляйчека пальцем: «А скажите-ка, Вранка, вы, часом, сколько-то лет назад не работали в Швеце на лесопильне? Она еще тогда сгорела, лесопильня-то».

Коляйчек упрямо, словно преодолевая сопротивление, покачал головой, и ему удалось придать своим глазам усталое и печальное выражение, так что Дюкерхоф, на которого упал этот взгляд, воздержался от дальнейших расспросов.

Когда под Модлином, там, где Буг впадает в Вислу и «Радауна» поворачивает, Коляйчек, перегнувшись через релинг, трижды сплюнул, как это принято у всех плотовщиков, рядом возник Дюкерхоф с сигарой и попросил у него огня. Это словечко, как и «спички», пронзило Коляйчека. «С чего это вы краснеете, когда я прошу огня? Девушка вы, что ли»

Они успели оставить Модлин далеко позади, когда с лица у Коляйчека наконец сошла краска, которая была вовсе не краска стыда, а запоздалый отблеск подожженных им лесопилок.

Между Модлином и Киевом, короче – вверх по Бугу, через канал, соединяющий Буг с Припятью, покуда «Радауна», следуя по Припяти, вышла в Днепр, не произошло ничего, что можно бы счесть переговорами между Коляйчеком-Вранкой и Дюкерхофом. Само собой, на буксире между плотогонами, между кочегарами и плотогонами, между штурманом, кочегарами и капитаном, между капитаном и вечно меняющимися лоцманами что-нибудь да происходило, как следует быть, а может, как и бывает между мужчинами. Я мог бы вообразить нелады между кашубскими плотовщиками и штурманом, уроженцем Штеттина, возможно даже зачатки бунта: общий сбор по левому борту, тянут жребий, выдумывают пароль, натачивают ножички.

Но не будем об этом. Не случилось ни политических акций, ни польско-немецкой поножовщины, ни приличествующего данному кругу развлечения в виде хорошего, порожденного социальной несправедливостью бунта. Исправно пожирая уголь, «Радауна» шла своим путем, один раз – сдается мне, это было сразу за Плоком – села на песчаную отмель, но смогла высвободиться собственными силами. Короткий, ядовитый обмен репликами между капитаном Барбушем из Нойфарвассера и украинцем лоцманом – вот и все, даже и судовой журнал не мог больше ничего добавить.

Но, имей я обязанность – и желание – вести судовой журнал для мыслей Коляйчека, а то и вовсе хронику дюкерхофской лесопильно-внутренней жизни, в нем достаточно говорилось бы о переменах и приключениях, подозрениях и подтверждениях, недоверии и – почти сразу – о поспешном устранении этого недоверия. Бояться боялись оба, и Дюкерхоф даже больше, чем Коляйчек, ибо находились они в России, и Дюкерхоф мог запросто свалиться за борт, как некогда бедный Вранка, или – а мы тем временем уже в Киеве – на одном из лесоторговых складов, которые так велики и необозримы, что в этом столпотворении вполне можно потерять своего ангела-хранителя, угодить под штабель внезапно пришедших в движение балок, которые уже не остановишь, – угодить или быть спасенным. Спасенным благодаря Коляйчеку, который сперва выудит хозяина из Припяти либо из Буга, который в последнюю минуту выдернет Дюкерхофа на лишенном ангелов-хранителей киевском дровяном складе из неотвратимо надвигающейся лавины. Ох, до чего ж было бы хорошо, сумей я на этом месте поведать, как полузахлебнувшийся или почти раздавленный Дюкерхоф, еще тяжело дыша и с приметами смерти во взоре, шепнул на ухо лже-Вранке: «Спасибо, Коляйчек, спасибо!» – и после необходимой паузы: «Теперь мы с тобой квиты и забудем обо всем!»

И они, сурово-дружески и смущенно улыбаясь, чуть не со слезами на глазах поглядели бы друг на друга как мужчины и обменялись бы робким, но мозолистым рукопожатием.

Эта сцена превосходно нам знакома по снятым с умопомрачительным мастерством фильмам, когда режиссеру вдруг втемяшится превратить упоительно актерствующих братьев-врагов в друзей-соратников, которым еще суждено пройти огонь и воду в тысяче совместных приключений.

Но Коляйчеку так и не представился ни случай дать Дюкерхофу пойти на дно, ни случай вырвать его из когтей накатывающейся смерти под балками. Внимательно, радея о благе родной фирмы, Дюкерхоф закупил в Киеве партию леса, проследил, как вяжут и спускают на воду девять плотов, по обычаю разделил между плотовщиками изрядную толику русских денег на карманные расходы для обратной дороги, после чего сам уселся в поезд, доставивший его через Варшаву – Модлин – Дойч-Эйлау – Мариенбург – Диршау на фирму, лесопильни которой располагались вдоль дровяной пристани между Клавиттерской и Шихауской верфями.

Прежде чем дать плотогонам возможность после нескольких недель серьезнейшей работы пройти через все реки, каналы и, наконец, вниз по Висле, я задаюсь вопросом: а точно ли Дюкерхоф был уверен, что Вранка и есть поджигатель Коляйчек? И хочу сказать, что, пока хозяин лесопилки плыл с безобидным, добродушным и, несмотря на известную ограниченность, снискавшим всеобщую любовь Вранкой, он надеялся, что его попутчик никак не Коляйчек, способный на любой дерзкий проступок. От этой надежды он отрекся, лишь сидя на подушках железнодорожного купе. Но пока поезд достиг конечной станции, въехав под своды Главного вокзала в городе Данциге – теперь я наконец произношу это название, – Дюкерхоф пришел к своим дюкерхофским выводам, приказал перенести свои чемоданы в экипаж, а экипажу ехать домой, сам же бойко – благо уже без багажа – помчался к близлежащему президиуму полиции, на Вибенваль, там вприпрыжку взбежал по ступеням главного портала, нашел после недолгих, но тщательных поисков ту комнату, где царила обстановка достаточно деловая, дабы выслушать короткий, приводящий лишь факты отчет Дюкерхофа. Из этого

не следует, что хозяин лесопильни сделал заявление. Нет, он просто попросил заняться делом Коляйчека-Вранки, что и было обещано полицией.

За последующие недели, покуда плоты из закупленного лесоматериала с камышовыми шалашами и плотогонами медленно скользили вниз по реке, во множестве управлений исписали множество бумаги. Взять, к примеру, военное дело Йозефа Коляйчека, рядового канонира в западнопрусском полку полевой артиллерии под номером таким-то и таким-то. Дважды по три дня умеренного ареста отсидел дурной канонир за громогласно выкрикиваемые в состоянии алкогольного опьянения анархистские лозунги отчасти на немецком, отчасти на польском языке. Словом, позорные пятна, которых не удалось обнаружить в бумагах ефрейтора Вранки, служившего во втором лейб-гусарском полку в Лангфуре. Напротив, ефрейтор Вранка проявил себя с хорошей стороны, при маневрах произвел приятное впечатление на кронпринца и получил от последнего, всегда носившего в кармане талеры, кронпринцев талер. Однако сей талер не был зафиксирован в военных бумагах ефрейтора Вранки, о чем с громкими рыданиями поведала моя бабка Анна, когда ее допрашивали вместе с братом Винцентом.

Но не только с помощью этого талера сражалась моя бабка против словечка «поджигатель». Нет, она могла предъявить документы, которые многократно подтверждали, что Йозеф Вранка уже в одна тысяча девятьсот четвертом году вступил в добровольную пожарную дружину Данцига-Нидерштадта и зимними месяцами, когда у плотогонов мертвый сезон, боролся против множества малых и больших пожаров. Была среди бумаг и грамота, которая свидетельствовала, что пожарный Вранка в большом железнодорожном депо Троила в году тысяча девятьсот девятом не просто тушил пожары, но и спас из огня двух учеников слесаря. Точно так же высказался и вызванный в качестве свидетеля брандмейстер Хехт. Для протокола он показал следующее:

– Как может быть поджигателем тот, кто сам тушит пожары! Да я до сих пор вижу, как он стоит на пожарной лестнице, когда горит церковь в Хойбуде! Феникс, возникающий из пепла и огня, гасящий не только огонь, но и пожар этой земли и жажду Господа нашего Иисуса Христа! Истинно говорю я вам: кто обзывает поджигателем этого великолепного феникса, человека в пожарной каске, который пользуется правом преимущественного проезда, которого любят страховые компании, который всегда носит в кармане горстку золы как символ или как знак профессии, тому бы лучше повесить на шею мельничный жернов…

Вы, верно, уже заметили, что брандмейстер Хехт, капитан добровольной пожарной дружины, был красноречивый патер, из воскресенья в воскресенье он стоял на кафедре приходской церкви Святой Барбары в Ланггартене и не упускал случая, покуда шло расследование против Коляйчека-Вранки, в подобных же выражениях вбивать в головы своей паствы притчи о небесном пожарном и адском поджигателе.

Но поскольку чиновники уголовной полиции не посещали церковь в приходе Святой Барбары да вдобавок усмотрели в словечке «феникс» скорее оскорбление Его Королевского Величества, нежели оправдание Вранки, деятельность последнего в добровольной дружине была воспринята как отягчающее обстоятельство.

Собирали показания различных лесопилен, свидетельства родных общин: Вранка увидел свет в Тухеле, Коляйчек же был родом из Торна. Некоторые нестыковки в показаниях пожилых плотогонов и отдаленных родственников. Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить, потому как ничего другого кувшину не остается. Покуда допросы шли своим чередом, большая связка плотов как раз пересекла государственную границу и, начиная с Торна, находилась под тайным наблюдением, а на стоянках ей просто садились на хвост.

Дедушка заметил это лишь после Диршау, чего, впрочем, и ожидал. Но овладевшая им в ту пору пассивность, граничащая с меланхолией, вероятно, помешала ему предпринять попытку бегства в Лецкау или в Кезemарке, что вполне могло увенчаться успехом в столь знакомой местности и с помощью некоторых расположенных к нему плотовщиков. Начиная с Айн-

лаге, когда плоты медленно, толкая друг друга, входили в Мертвую Вислу, какой-то рыбацкий катер с показной незаметностью бежал рядом, имея на борту слишком уж многочисленную команду. Сразу за Пленендорфом из камышей прытко выскочили оба моторных баркаса портовой полиции и принялись вдоль и поперек вспарывать воды Мертвой Вислы, что своим гниловатым запахом все больше свидетельствовали о близости порта. А уж за мостом после Хойбуде начиналась заградительная цепь «синих мундиров». Штабеля леса напротив Клавиттерской верфи, маленькие лодочные верфи, все расширяющиеся к Моттлау дровяные пристани, причальные мостки всевозможных лесопилок, мостки собственной фирмы с пришедшими встречать родственниками, и повсюду «синие мундиры», только у Шихау их нет, там все было разукрашено флажками, там совершалось какое-то другое действо, не иначе что-то должно было сойти со стапелей. Там собралось много народу, это взволновало чаек, там давали праздник – уж не в честь ли моего дедушки?

Лишь когда мой дедушка увидел запруженную «синими» дровяную пристань, когда все более зловещим стал выглядеть курс, взятый баркасами, волны от которых уже захлестывали плоты, он постиг смысл этой расточительной концентрации сил ради него, в нем проснулось сердце поджигателя Коляйчека, он исторг из себя незлобивого Вранку, выскочил из шкуры члена добровольной пожарной дружины, во весь голос и без запинки отрекся от заикающегося Вранки и побежал, побежал по плотам, по обширным шатким поверхностям, побежал босиком по нестругаными «паркету», с одного хлыста на другой, по направлению к Шихау, где веселые флажки на ветру, побежал вперед по доскам, туда, где что-то лежало на стапелях – а вода, она ведь может и поддержать, – где они произносили красивые речи, где никто не выкликал Вранку, а тем более Коляйчека, где говорили так: я нарекаю тебя именем «Его Величества Корабль "Колумб"», Америка, водоизмещение свыше сорока тысяч тонн, тридцать тысяч лошадиных сил. Его Величества Корабль, курительный салон первого класса, на корме кухня второго класса, спортивный зал из мрамора, библиотека, Америка, Его Величества Корабль, коридор гребного вала, прогулочная палуба, «Слава тебе в победном венке», праздничный флажок родной гавани, принц Генрих взялся за штурвал, а мой дед Коляйчек босиком, едва касаясь ногами бревен, – навстречу духовой музыке. Народу дан великий князь, с одного плота на другой, приветственные клики толпы, «Слава тебе в победном венке», и все сирены на верфи, и все сирены стоящих в порту судов, буксиров и пароходов для увеселительных прогулок, Колумб, Америка, свобода, и два баркаса, ошалев от радости, вслед за ним, с одного плота на другой, плоты Его Величества перекрывают дорогу и портят игру, так что он должен остановиться, а ведь так хорошо разбежался, и он стоит один-одинешенек на плоту и видит уже Америку, а баркасы заходят с длинной стороны, ну что ж, надо оттолкнуться – вот уже мой дед плывет, плывет к плоту, который входит в Моттлау. А теперь приходится нырять – из-за баркасов – и оставаться под водой – из-за баркасов, а плот надвинулся на него, и конца этому плоту нет, он порождает все новые и новые плоты: плот от твоего плота и во веки веков – плот.

Баркасы заглушили моторы, и неумолимые пары глаз принялись обшаривать поверхность воды. Но Коляйчек распрощался раз и навсегда, ушел от жестяного воя сирен, от судовых колоколов, от Корабля Его Величества и от речи по поводу крещения, произнесенной принцем Генрихом, от безумных чаек Его Величества, от «Славы тебе в победном венке», от жидкого мыла Его Величества для вящего скольжения по стапелям Корабля Его Величества, от Америки, и от «Колумба», и от полицейских расследователей – ушел навсегда под не имеющим конца плотом.

Тело моего деда так никогда и не было обнаружено. Я, твердо убежденный в том, что он нашел смерть под плотами, должен, однако, дабы не поколебать доверия к сказанному, взять на себя труд и изложить все варианты чудесного спасения.

Итак, люди рассказывали, что под плотом ему удалось отыскать щель между бревнами, снизу достаточно широкую, чтобы держать над водой нос и рот, а кверху эта щель настолько

сужалась, что оставалась невидимой для полицейских, которые до поздней ночи обыскивали плоты и даже камышовые шалаши на них. Затем под покровом темноты – так говорилось далее – дед отдал себя на волю волн, и хоть и выбившись из сил, но с известной долей везения достиг противоположного берега Моттлау на территории Шихауской верфи, там укрылся в горе отходов, а позднее, возможно с помощью греческих матросов, попал на один из тех грязных танкеров, которые, по слухам, предоставили убежище уже не одному беглецу.

Другие говорят так: Коляйчек и пловец был хороший, а легкие у него были и того лучше, и проплыл он не только под плотом, нет, он прошел под водой и оставшуюся, довольно широкую часть Моттлау, благополучно достиг берега на территории Шихауской верфи, там, не привлекая к себе внимания, затесался в толпу рабочих, а попозже – и в ликующую публику, вместе с народом пел: «Слава тебе в победном венке», поаплодировал после речи принца Генриха на крещение «Колумбом» Корабля Его Величества, после удачного схода его со стапелей вместе с толпой в наполовину высохшей одежде покинул празднество и уже на другой день – здесь первая версия смыкается со второй – бесплатным пассажиром вступил на борт славно-пресловутого греческого танкера.

Для полноты картины надлежит также вспомнить третью бессмысленную версию, согласно которой моего деда, как сплавной лес, вынесло в открытое море, где его не мешкая выудили рыбаки из Бонзака и за пределами трехмильной зоны передали шведскому катеру, приспособленному для океанского плавания. Там, на шведском катере, версия давала ему возможность чудесным образом, хоть и медленно, восстановить силы, добраться до Мальмё – ну и так далее и тому подобное.

Все это вздор и рыбацкие байки. Точно так же я и гроша ломаного не дам за рассказы равно не заслуживающих доверия очевидцев из разных портовых городов, которые якобы видели моего деда в Буффало (США) вскоре после окончания Первой мировой войны. Звали его вроде бы Джо Колчик, и вел он, по их словам, торговлю дровяным товаром с Канадой. Акции спичечных фирм. Основатель страховых компаний – страхование от огня. Описывали его как человека чрезвычайно богатого и одинокого: сидит-де он в небоскребе за огромным письменным столом, на всех пальцах – перстни со сверкающими камнями, муштрует своих телохранителей, которые одеты в пожарную форму, умеют петь по-польски и называются Гвардией Феникса.

Мотылек и лампочка

Некий человек оставил все, что имел, переплыл океан, попал в Америку и разбогател – на этом я хочу завершить все разговоры о моем дедушке, как бы он себя ни называл: Голячек по-польски, Коляйчек на кашубский лад или по-американски – Джо Колчик.

Не очень-то легко на простом жестяном барабане, какие продают в магазинах игрушек и в универсальных магазинах, выбить деревянные, уходящие почти за горизонт плоты. И однако же мне удалось пробарабанить на нем дровяную гавань, весь плавник, что качается на волне в излучинах реки, измочаливается в камышах; чуть легче удалось мне пробарабанить эллинги на Шихауской верфи, на Клавиттерской, на многочисленных, по большей части занятых мелким ремонтом лодочных верфях, свалку металлического лома при вагонном заводе, склады прогорклых кокосов при маргаринной фабрике, все знакомые мне закоулки острова Шпайхер. Дед умер, он не даст мне ответа, не проявит интереса к кайзеровскому сходу со стапелей, к затягивающейся порой на десятилетия и начинающейся уже в момент схода гибели корабля, который в нашем случае нарекли «Колумбом», называли также гордостью флота, который, натурально, взял курс на Америку, а позже был затоплен либо сам утонул. Возможно, его подняли со дна, перестроили, переименовали или пустили на лом. А может, «Колумб» просто ушел под воду, как в свое время поступил мой дед, может, он и по сей день дрейфует со всем своим сорокатысячным водоизмещением, курительным салоном, спортивным залом из мрамора, плавательным бассейном и кабинетами для массажа на глубине, скажем, шесть тысяч метров где-нибудь в Филиппинской впадине либо на траверзе Эмдена; об этом можно прочесть в «Вейере» или в морских календарях, – помнится, не то первый, не то второй «Колумб» добровольно ушел на дно, потому что капитан не сумел пережить некий связанный с войной позор.

Часть плотовой истории я вслух зачитал Бруно, после чего задал свой вопрос, настаивая на объективности.

– Прекрасная смерть, – мечтательно промолвил Бруно и принялся не мешкая с помощью упаковочной бечевки превращать моего дедушку в одно из своих узелковых творений. Пришлось мне удовольствоваться таким ответом и не устремлять дерзновенный полет мыслей в Америку, чтобы там выхлопотать себе наследство.

Навестили меня мои друзья Витлар и Клепп. Клепп принес с собой пластинку, где на обеих сторонах – Кинг Оливер, а Витлар, жеманясь, протянул мне шоколадное сердце на розовой ленточке. Они по-всякому дурачились, пародируя сцены из моего процесса. Я же, дабы доставить им удовольствие, изображал, как и во все дни посещений, превосходное настроение и способность смеяться даже самым глупым шуткам. Как бы вскользь, прежде чем Клепп успел приступить к своей неизбежной лекции о взаимосвязях между джазом и марксизмом, я поведал им историю человека, который в тринадцатом году, незадолго до того, как все это разразилось, угодил под воистину бесконечный плот, можно сказать не имеющий конца, и уже не выбрался из-под него, даже тело его так никогда и не было найдено. На мой вопрос – я задал его непринужденно, как бы скучливым тоном – Клепп с неудовольствием помотал головой на толстой шее, расстегнул все пуговицы, потом опять застегнул, сделал несколько плавательных движений – короче, повел себя так, будто он сам находится под плотом. В конце концов он отмахнулся от моего вопроса, взвалив вину за отсутствие ответа на слишком ранние сумерки.

Витлар сидел неподвижно, закинув ногу на ногу и не забывая при этом про складку на брюках, сидел и демонстрировал то изысканно-полосатое причудливое высокомерие, которое присуще разве что ангелам на небесах.

– Я нахожусь на плоту. Находиться на плоту прекрасно. Меня кусают комары. Это неприятно. Я нахожусь под плотом. Под плотом прекрасно. Комары меня больше не кусают. Это

приятно. Сдается мне, под плотом вполне можно жить, если, конечно, у тебя нет намерения в то же время находиться на плоту и разрешать комарам кусать тебя.

Тут Витлар сделал свою испытанную паузу и внимательно поглядел на меня, затем поднял, как всякий раз, когда хотел походить на сову, свои и без того высокие брови и, театрально интонируя, изрек:

– Сдается мне, что в случае с этим утопленником, с этим человеком под плотами, речь идет о твоем двоюродном, а то и вовсе о твоем родном дедушке. Поскольку он, будучи твоим двоюродным дедушкой, а тем паче – будучи родным дедушкой, сознавал свои перед тобой обязанности, он и нашел смерть, ибо ничто на свете не может быть для тебя более тягостным, чем наличие живого дедушки. Итак, ты не просто убийца своего двоюродного дедушки, ты вдобавок еще и убийца своего родного дедушки. Но поскольку сей последний, как это вообще принято у дедушек, хотел бы тебя наказать, он лишил тебя того удовлетворения, которое испытывает внук, гордо указывая на раздувшееся в воде тело и произнося таковые слова: «Взгляните на моего мертвого дедушку. Он был героем! Он прыгнул в воду, когда увидел, что его преследуют». Твой дедушка лишил весь мир и собственного внука возможности своими глазами увидеть его тело с единственной целью принудить оставшихся, и в том числе внука, еще долго им заниматься.

Потом, ударившись из одной патетики в другую, мне явился хитрый, чуть наклоненный вперед и разыгрывающий примирение Витлар:

– Америка! Возрадуйся, Оскар! У тебя есть цель и есть задача! Здесь тебя натурально оправдают и выпустят. Так куда ж тебе и податься, как не в Америку, где снова можно сыскать все, даже и без вести пропавшего дедушку!

Как ни язвителен и даже обиден был ответ Витлара, он вселил в меня большую уверенность, чем почти не делающая разницы между жизнью и смертью болтовня моего друга Клеппа или ответ санитара Бруно, который лишь потому назвал смерть моего дедушки прекрасной смертью, что сразу после нее, разводя волны, сошел со стапелей «ЕВК Колумб». И потому я воздаю хвалу витларовской Америке, консервирующей дедушек, намеченную цель, образец, соизмеряя себя с которым я могу выпрямиться, когда, наскучив Европой, захочу отложить в сторону барабан и перо.

Пиши дальше, Оскар, сделай это ради твоего неслыханно богатого, но усталого дедушки Коляйчека, который торгует в Буффало древесиной, а в недрах своего небоскреба играет спичками.

Когда Клепп и Витлар наконец откланялись и ушли, Бруно, решительно проветрив, удалил из комнаты назойливый запах моих друзей. После этого я снова взял свой барабан, но выбивал на нем не бревна украшающих смерть плотов, а тот быстрый, прыгучий ритм, которому должны были повиноваться все люди после августа одна тысяча девятьсот четырнадцатого. Потому мой текст вплоть до часа моего рождения может лишь в общих чертах набросать путь траурной процессии, оставленной в Европе моим дедушкой.

Когда Коляйчек исчез под плотами, среди тех, кто поджидал на причальных мостках лесопильни, встревожились моя бабушка с дочерью Агнес, Винцент Бронски и его семнадцатилетний сын Ян. Немного в стороне стоял старший брат Йозефа Грегор Коляйчек, которого вызвали в город на допросы. Грегор неизменно давал полиции один и тот же ответ:

– Я своего брата почти и не знаю. Знаю, по правде говоря, только, что звать его Йозефом, а когда я его видел последний раз, лет ему было десять или, скажем, двенадцать. Он мне еще ботинки чистил и за пивом бегал, коли нам с матерью хотелось пивка.

Хотя при этом и выяснилось, что моя прабабка любила пиво, полиции от такого ответа особого проку не было. Зато от наличия старшего Коляйчека сыскался прок для моей бабушки Анны. Грегор, проживший много лет в Штеттине, Берлине и под конец в Шнайдемюле, осел теперь в Данциге, нашел работу на пороховой мельнице бастиона «Кролик» и, когда истек

положенный год траура, а все сложности, например история с выходом замуж за лже-Вранку, были улажены, разъяснены и сданы в архив, женился на моей бабушке, которая не пожелала расстаться с Коляйчеками и никогда или, по крайней мере, так быстро не вышла бы за Грегора, не будь он Коляйчеком.

Работа на пороховой мельнице избавила Грегора от необходимости перелезать в пестрый, а потом сразу в походный мундир. Жили они втроем все в той же квартирке из полутора комнат, которая много лет служила прибежищем поджигателю. Но вскоре выяснилось, что Коляйчеки не все на одну стать, ибо не прошло и года, как они поженились, а моей бабке уже пришлось снять пустующий подвал доходного дома в Троиле и, торгуя всякой мелочью – от английской булавки до капустного кочана, – малость подрабатывать, потому что Грегор, хоть и получал кучу денег на своей мельнице, домой не приносил даже самого необходимого, а все как есть пропивал. В то время как Грегор, возможно уродившийся в мою прабабку, был пьяницей, мой дедушка Йозеф лишь изредка охотно пропускал рюмочку. Грегор пил не от плохого настроения. Даже когда у него, казалось бы, хорошее настроение, а это случалось нечасто, ибо он питал склонность к меланхолии, он пил не для того, чтобы развеселиться, а потому, что хотел дойти до сути всякого предмета, в том числе и до сути алкоголя. Покуда Грегор Коляйчек был жив, никто ни разу не видел, чтобы он оставил недопитой стопку можжевеловки.

Матушка, в то время кругленькая пятнадцатилетняя девочка, тоже не сидела сложа руки, она помогала в лавке, наклеивала продовольственные талоны, по воскресеньям разносила товар и писала хоть и не очень складные, но продиктованные богатой фантазией письма-напоминания должникам. Жаль, у меня не сохранилось ни одного из ее писем. Как было бы хорошо процитировать на этом месте несколько полудетских-полудевичьих призывов, сочиненных полусироткой, потому что Грегор Коляйчек оказался не совсем полноценным отчимом. И даже более того, моей бабушке и ее дочери стоило немалых трудов укрывать их наполненную медью и лишь малым количеством серебра кассу, состоявшую из двух опрокинутых одна на другую жестяных тарелок, от меланхолических Коляйчековых взглядов вечно томимого жаждой пороховщика. Лишь когда Грегор в девятьсот семнадцатом году умер от гриппа, доходы их возросли, хоть и не слишком, потому как чем было торговать в семнадцатом году?

В спальню полуторакомнатной квартиры, которая после смерти пороховщика осталась пустой, потому что матушка моя из страха перед адскими муками не захотела туда перебраться, въехал Ян Бронски, на ту пору примерно двадцатилетний ее кузен, покинувший и родной город Биссау, и своего отца Винцента, чтобы с хорошим свидетельством об окончании средней школы в Картхаусе и завершив ученичество на почте окружного города начать теперь на главном почтамте Данцига карьеру служащего среднего класса. Помимо чемодана Ян привез в квартиру своей тетки весьма объемистую коллекцию марок. Марки он собирал с самого раннего детства, а потому имел к почте не только служебное, но и чисто личное, очень бережное отношение. Тщедушный, чуть сутулый молодой человек являл миру приятное, овальное, возможно чуть приторное, лицо и голубые глаза, – словом, вполне достаточно, чтобы моя матушка, которой тогда минуло семнадцать лет, в него влюбилась. Яна уже трижды призывали на военное освидетельствование и всякий раз браковали из-за болезненного состояния, что в те времена, когда все мало-мальски стройное прямиком отправлялось к Вердену, дабы потом на французской земле навек принять горизонтальное положение, весьма красноречиво говорило о конституции Яна Бронски.

Роман должен был, собственно, начаться уже за совместным рассматриванием марок, за изучением голова к голове зубчиков на особо ценных экземплярах. Но начался он или, скажем, прорвался, лишь когда Яна вызвали на четвертое освидетельствование. Матушка его провожала, потому что ей все равно надо было в город, и дожидалась там перед постовой будкой, которую охранял резервист; вместе с Яном они решили, что уж на сей-то раз ему надо отправиться во Францию, дабы исцелить свою хилую грудную клетку в богатом железом и свинцом

воздухе этой страны. Возможно, моя матушка многократно пересчитывала пуговицы на мундире ополченца, и всякий раз с другим результатом. Я вполне могу себе представить, что пуговицы на любом мундире расположены таким образом, что последняя по счету пуговица всякий раз подразумевала Верден, либо одну из многочисленных вершин Вогезов, либо речушку – Сомму или Марну.

Когда в четвертый раз прошедший освидетельствование паренек спустя почти час выскочил из портала окружной комендатуры, скатился вниз по лестнице и, бросаясь на шею Агнес, то есть моей матушке, шепнул ей на ушко столь распространенную тогда присказку «Ни кожи, ни рожи, на годик отложим», матушка впервые обняла Яна Бронски, и я не уверен, что ей и в будущем доводилось быть столь же счастливой, когда она обнимала Яна.

Подробности этой юной любви военных лет мне не известны. Ян продал часть своей коллекции марок, чтобы соответствовать претензиям матушки, имевшей ярко выраженную тягу ко всему красивому, модному и дорогому, кроме того, он в ту же пору вел дневник, впоследствии, к сожалению, утерянный. Бабушка, судя по всему, снисходительно относилась к связи молодых людей – нетрудно догадаться, что эта связь выходила за рамки чисто родственных отношений, – поскольку Ян Бронски все так же обитал в тесной квартирке на Троиле. Он выехал лишь вскоре после войны, да и то когда уже никак нельзя было замалчивать существование некоего господина Мацерата и, следовательно, пришлось таковое признать. Матушка, надо думать, познакомилась с упомянутым господином летом восемнадцатого года, когда служила помощницей сестры в лазарете Зильберхаммер у Оливы. Альфред Мацерат, родом из Рейнланда, лежал там со сквозным ранением мягких тканей бедра и благодаря своей рейнландской жизнерадостности вскоре заделался любимцем всех сестер, не исключая сестры Агнес. Едва выздоровев, он ковылял по коридору под ручку с какой-нибудь из сестер и подсоблял на кухне сестричке Агнес, потому что уж очень шел к ее круглому личику сестринский чепец, а вдобавок потому, что он страстно увлекался стряпней и умел претворять свои чувства в супы.

После выздоровления Альфред Мацерат остался в Данциге и тотчас нашел работу как представитель своей рейнской фирмы – крупного предприятия бумагоделательной индустрии. Война шла на убыль, и, создавая повод для грядущих войн, народ сел за составление мирных договоров: область вокруг устья Вислы примерно от Фогельзанга на Свежей косе вдоль по реке Ногат до Пикеля, там, следуя вниз по течению Вислы, до Чаткау, потом влево под прямым углом до Шёнефлиса, там, выгорбясь дугой, вокруг Заскошинского бора до Оттоминского озера, оставляя в стороне Маттерн, Рамкау и Биссау моей бабушки и выходя к Балтийскому морю возле Кляйн-Каца – эта область была провозглашена Вольным городом Данцигом и переподчинена Лиге Наций. Польша получила в черте города свободный порт, Вестерплатте, с арсеналом, правлением железной дороги и собственной почтой на Хевелиусплац.

В то время как марки Вольного города предлагали для писем красно-золотую ганзейскую пышность с изображением торгового судна и герба, поляки клеили на письма жуткие фиолетовые картины, иллюстрирующие истории про Казимира и Батория.

Ян Бронски перешел служить на Польскую почту. Переход его выглядел неожиданным, равно как и выбор польского гражданства. Одной из причин, по которой он принял польское подданство, многие сочли поведение моей матушки. В двадцатом году, когда маршал Пилсудский разбил под Варшавой Красную армию и за это чудо на Висле люди, подобные Винценту Бронски, возблагодарили Деву Марию, а сведущие в военном деле приписали все заслуги либо генералу Сикорскому, либо генералу Вейгану, – словом, в том польском году матушка моя обручилась с имперским немцем Мацератом. Мне хочется думать, что бабушка Анна так же мало одобрила это обручение, как и сам Ян. Она уступила дочери подвальную лавочку на Троиле, которая тем временем достигла известного расцвета, перебралась в Биссау к своему брату Винценту – короче, на польские земли – и, как в доколяйчековские времена, взяла на себя

двор, поля свеклы и картофеля, предоставив своему осененному благодатью брату больше времени для общения и диалога с девственной королевой Польши, сама же удовольствовалась возможностью в своих четырех юбках сидеть у осеннего костерка с горящей ботвой и глядеть в сторону горизонта, по-прежнему расчлененного телеграфными столбами.

Лишь когда Ян Бронски нашел свою Хедвиг, кашубскую девушку, хоть и горожанку, но имеющую пашню под Рамкау, а найдя, женился, отношения между моей матушкой и Яном несколько улучшились. На танцах в кафе Войке, где они случайно встретились, матушка представила Яна Мацерату. Оба столь различных, но применительно к моей матушке столь единодушных человека приглянулись друг другу, хотя Мацерат на своем рейнском диалекте обозвал переход Яна на Польскую почту дурацкой блажью. Ян танцевал с матушкой, Мацерат – с ширококостой дылдой Хедвиг, наделенной загадочным коровьим взглядом, что побуждало ближайшее окружение неизменно считать ее беременной. Они еще много танцевали друг с другом и крест-накрест и при каждом новом танце уже думали о следующем, при звуках уанстепа опережая друг друга, а при звуках английского вальса чувствуя себя раскрепощенными и, наконец, обретая веру в себя при чарльстоне, а при медленном фокстроте – чувственность, граничащую с религиозным экстазом.

Когда Альфред Мацерат в двадцать третьем году – а в том году за стоимость одного коробка спичек можно было обклеить целую спальню орнаментом из нулей – женился на моей матушке, Ян был одним из свидетелей, а владелец лавки колониальных товаров Мюлен – другим. О свидетеле Мюлене я могу поведать немного. Упомянуть же его следует потому, что матушка и Мацерат откупили его разоренную неисправными должниками лавку в пригороде Лангфур как раз в тот момент, когда ввели рентную марку. За короткое время матушке, усвоившей в подвальной лавке на Троиле формы искусного обращения со всякого рода берущими в кредит покупателями да вдобавок наделенной от природы деловой хваткой, чувством юмора и бойкостью в разговоре, удалось настолько поднять захиревшую лавку, что Мацерату пришлось оставить место представителя в бумагоделательной отрасли, тем более что там и без него толклась уйма народу, и помогать в лавке.

Оба великолепно дополняли друг друга. То, чего достигла матушка, общаясь с покупателями за прилавком, рейнландцу удавалось в общении с представителями фирм и при оптовых закупках. Прибавьте еще тягу Мацерата к кухонному фартуку, к работе на кухне, включавшей в себя и мытье посуды, что весьма разгрузило матушку, предпочитавшую блюда, состряпанные на скорую руку.

Хотя квартира, примыкавшая к лавке, была тесной и заставленной, но, если сравнить с жильем на Троиле, которое, впрочем, известно мне лишь по рассказам, она была достаточно мещанской, чтобы матушка, по крайней мере в первые годы супружества, благоденствовала на Лабесвег.

Помимо длинного, с небольшим изгибом коридора, где по большей части громоздились пачки стирального порошка, существовала еще просторная, однако так же наполовину загроможденная товарами – типа консервных банок, мешков с мукой и пачек с овсяными хлопьями – кухня. Основу же всей этой квартиры в первом этаже составляла гостиная с двумя окнами, глядевшими на выложенный летом балтийскими раковинами палисадник и на улицу. Если в обоях преобладал винно-красный цвет, шезлонги были обтянуты разве что не пурпуром. Раздвижной, с закругленными углами обеденный стол, четыре черных, крытых кожей стула и круглый курительный столик, который то и дело менял место, упирались черными ножками в голубой ковер. Черные с золотом напольные часы в простенке. Черное, прильнувшее к пурпурному шезлонгу пианино сперва брали напрокат, но постепенно выкупили, вертящийся табурет на изжелта-белой шкуре. Напротив пианино – буфет. Черный буфет с раздвижными дверцами шлифованного стекла в обрамлении черных пузатых столбиков, с массивно-черным фруктовым барельефом на нижних, скрывающих посуду и столовое белье дверцах, с черными

лапами-ножками, черной резной насадкой, а между хрустальной вазой с фруктами из папье-маше и зеленым, выигранным в лотерею кубком – тот самый проем, который благодаря активной коммерческой деятельности матушки был немного спустя заполнен светло-коричневым радиоприемником.

Спальня была выдержана в желтых тонах, окнами смотрела на двор четырехэтажного доходного дома. И поверьте мне, пожалуйста, на слово, что балдахин над широким супружеским ложем был нежно-голубого цвета, что над изголовьем среди этой нежной голубизны в рамочке и под стеклом лежала в пещере кающаяся Магдалина телесного цвета, вознося вздохи к правому верхнему углу картины и ломая перед грудью руки с таким количеством пальцев, что из-за подозрения, будто их больше десяти, хотелось на всякий случай пересчитать. Против супружеской кровати – крытый белым лаком платяной шкаф с зеркальными дверцами, слева – туалетный столик, справа – комод под мраморной крышкой, с потолка свисает не обтянутая тканью, как в гостиной, а на двух медных цепях со светло-розовыми фарфоровыми плафонами, так что видны изливающие свет лампочки, спальная люстра.

Сегодня я пробарабанил всю долгую первую половину дня, задавал своему барабану вопросы, спрашивал, какие лампочки были у нас в спальне, на сорок свечей или на шестьдесят. Я уже не первый раз задаю себе и своему барабану этот столь важный для меня вопрос. Иногда проходят часы, прежде чем я отыщу путь к этим лампочкам, ибо разве не следует всякий раз предварительно забыть про те тысячи источников света, которые, посещая или покидая тысячи квартир, я оживлял либо усыплял с помощью соответствующих выключателей, дабы затем уже, без запинки барабаня, отыскать путь из этого леса определенной мощности лампочек к светильникам нашей спальни на Лабесвег.

Рожала матушка дома. Когда начались схватки, она еще стояла в лавке, рассыпая песок по синим фунтовым и полуфунтовым кулькам. А потом было уже поздно везти ее в женскую клинику, пришлось сбегать на соседнюю Герташтрассе за старой акушеркой, которая время от времени еще бралась за свой чемоданчик с инструментами. В спальне она помогла мне и моей матушке отделиться друг от друга.

Итак, я впервые увидел свет в образе двух шестидесятиваттных лампочек. А потому и по сей день библейский текст «Да будет свет, и стал свет» представляется мне чрезвычайно удачным рекламным лозунгом фирмы «Осрам». Если не считать неизбежного разрыва промежности, рождение меня прошло гладко. Я без всякого труда вышел головкой вперед – положение, столь высоко ценимое роженицами, эмбрионами и акушерками.

И чтобы сразу же поставить вас в известность: я принадлежу к числу тех восприимчивых младенцев, чье духовное развитие уже завершено к моменту появления на свет, в дальнейшем же его надлежит только подтверждать. Сколь самостоятельно я на стадии эмбрионального развития внимал лишь самому себе и, отражаясь в околоплодных водах, испытывал самоуважение, столь же критически внимал я первым спонтанным репликам моих родителей под светом упомянутых двух лампочек. Мое ухо проявляло редкую остроту слуха. Пусть оно было маленькое, приплюснутое, слипшееся и во всяком случае заслуживало наименования «прелестное», оно сохранило каждую из тех столь важных для меня – как первые впечатления – фраз. Более того, все воспринятое ухом я тотчас оценивал своим крохотным мозгом и, должным образом обмыслив услышанное, решил сие непременно делать, то же, без сомнения, оставить.

«Мальчик, – сказал тот господин Мацерат, которого я счел своим отцом. – Когда-нибудь к нему отойдет лавка. Теперь наконец мы знаем, чего ради так надрываемся».

Матушка про лавку думала меньше, а больше про экипировку своего сына. «Так я и знала, что будет мальчик, хоть и говорила не раз, что будет Мариэль».

Так я раньше срока познакомился с женской логикой, после чего услышал еще такие слова: «Когда маленькому Оскару исполнится три года, он у нас получит жестяной барабан».

Долгое время сравнивая материнские и отцовские посулы, я, Оскар, наблюдал и следил за ночным мотыльком, которого ненароком занесло в комнату. Не очень крупный, мохнатый, он облетал кругами обе шестидесятисвечовые лампочки, отбрасывая тени, значительно превосходящие истинный размах его крыльев. Они перекрывали всю комнату своим подрагиванием, наполняли ее и расширяли. На мою долю, однако, выпала не столько игра света и тени, сколько тот звук, который возникал между мотыльком и лампой: мотылек стрекотал, словно торопился избавиться от своего знания, словно на будущее у него уже не осталось времени для бесед с источниками света, словно беседа между мотыльком и лампой была во всяком случае последней исповедью мотылька, и, получив своего рода отпущение, которое могут даровать лишь лампы накаливания, он больше никогда не сподобится ни грешить, ни увлекаться.

Нынче Оскар говорит просто: мотылек барабанил. Я слышал, как барабанят кролики, лисы и сони. Лягушки могут набарабанить непогоду. Про дятла поговаривают, будто, барабаня, он выгоняет червей из дерева. В конце концов, и человек бьет в литавры, в тарелки, в барабаны, он ведет разговоры о револьверах с барабаном, о барабанной дроби выстрелов; барабанным боем человека вызывают, барабанным боем скликают по тревоге, барабанным боем провожают в могилу. Это делают барабанщики, маленькие барабанщики. Есть композиторы, которые пишут концерты для смычковых и ударных инструментов. Я позволю себе напомнить вам также про вечернюю зорю, обычную и торжественную, про уже имевшие место усилия Оскара, но все перечисленное не идет ни в какое сравнение с той барабанной оргией, которую учинил ночной мотылек в честь моего рождения на двух примитивнейших лампочках по шестьдесят ватт каждая. Возможно, в самой темной Африке встречаются негры, как встречаются и в Америке негры, еще не позабывшие Африку, возможно, этим людям, от природы наделенным чувством ритма, дано так же, как и моему – или подобно моему – мотыльку или в подражание африканским мотылькам, которые, как известно, много крупнее и роскошней, чем мотыльки Восточной Европы, барабанить дисциплинированно и в то же время раскрепощенно, я же держусь своих восточноевропейских масштабов, – иными словами, держусь своего средних размеров с коричневой пыльцой ночного мотылька в час моего рождения и называю его «наставник Оскара».

Все это происходило в первые дни сентября. Солнце стояло под знаком Девы. Издалека наползала сквозь ночь запоздалая гроза, сдвигая ящики и шкафы. Меркурий даровал мне критический настрой. Уран сделал гораздым на выдумки, Венера позволила мне поверить в свою малую удачу, а Марс – в свое честолюбие. Близились к восходу Весы, что наделяло меня чувствительностью и подталкивало к преувеличениям. Нептун достиг десятого дома, середины жизни, и поместил меня между чудом и разочарованием, Сатурн же в третьем доме, противостоя Юпитеру, поставил под вопрос мое существование. Но кто наслал мотылька, кто дозволил ему, как и наставительному рокоту грозы на исходе лета, усилить во мне любовь к обещанному матушкой жестяному барабану, делая этот инструмент все более для меня сподручным и желанным?

Для отвода глаз крича и изображая лилового новорожденного, я принял решение наотрез отклонить предложение моего отца, то есть все связанное с лавкой колониальных товаров, зато желание моей матушки в указанное время, то есть в третью годовщину рождения, подвергнуть благосклонному рассмотрению.

В ходе всех этих раздумий касательно моего будущего я убедился: матушке, как и Мацерату, не дано воспринимать мои возражения и выводы и – в случае надобности – относиться к ним с уважением. Одинокий, никем не понятый, лежал Оскар под лампочками и сделал для себя вывод, что так все и останется до тех пор, пока через шестьдесят-семьдесят лет завершающее короткое замыкание не обесточит все источники света, а потому и вообще расхотел жить, еще раньше, чем началась эта жизнь под лампами; только обещанный барабан помешал

мне тогда более активно выразить свое желание вернуться в нормальное положение эмбриона головкой вниз.

Вдобавок и повитуха уже перерезала пуповину, так что больше ничего нельзя было поделать.

Фотоальбом

Я храню сокровище. Все эти тяжкие, состоящие лишь из календарных дат годы я хранил его, прятал, снова доставал; во время поездки в товарном вагоне я, как драгоценность, прижимал его к груди, а когда я засыпал, Оскар спал на своем сокровище, на фотоальбоме.

Ну что бы я делал без этого все ставящего на свои места, открытого доступу фамильного склепа? В нем сто двадцать страниц. И на каждой странице одна подле другой, одна под другой, прямоугольные, тщательно распределенные, то соблюдая симметрию, то, напротив, ее нарушая, приклеены фотографии, по четыре, по шесть, а иногда всего по две. Альбом переплетен в кожу, и чем старше он становится, тем сильнее пахнет кожей. Были времена, когда альбому сильно вредили ветер и непогода. Фотографии отставали от страниц и своим беспомощным видом вынуждали меня искать покоя и удобного случая, чтобы клеем обеспечить исконное место чуть не потерявшемуся снимку.

Есть ли хоть что-нибудь в этом мире, есть ли роман, способный достичь эпической широты фотоальбома? Наш милосердный Господь, который, словно прилежный фотолюбитель, каждое воскресенье щелкает нас сверху, то есть в крайне укороченном ракурсе при более или менее удачном освещении, после чего наклеивает снимок в свой альбом, наверняка мог бы, пресекая любые попытки помешкать, хоть и с наслаждением, но до неприличия долго, твердой рукой провести меня через мой альбом, не давая пищи для тяги Оскара ко всякой запутанности; я же предпочел бы снабдить наличные снимки оригиналами.

Попутно заметим: тут встречаются разнообразнейшие мундиры, тут меняются моды и прически, матушка становится толще, Ян худосочнее, тут попадаются люди, которых я вовсе и не знаю, тут можно только гадать, кто делал снимок, потом все деградирует, а художественная фотография на рубеже веков вырождается в бытовую фотку наших дней. Взять хотя бы тот памятник моему деду Коляйчеку и этот снимок на паспорт моего друга Клеппа. Даже если просто положить рядом портрет дедушки, отретушированный коричневым, и гладкое, ждущее печати клепповское фото, сразу станет ясно, куда нас завел прогресс в области фотографии. В частности, все эти штучки моментальной фотографии. Причем я должен сделать себе больше упреков, чем делаю их Клеппу, ибо на правах владельца альбома мне следовало бы заботиться о сохранении уровня. Если в один прекрасный день перед нами разверзнется пасть ада, одна из утонченнейших мук будет выглядеть так: обнаженного человека запирают в одном помещении со всеми его фотографиями. Быстренько подбавим немного пафоса: «О ты, человек, между моментальными снимками, срочными снимками, фотографиями на паспорт! О человек, освещенный лампой-вспышкой, человек, выпрямившийся перед косой Пизанской башней, человек из кабинки фотоателье, который должен подставить свету свое правое ухо, дабы снимок годился для паспорта!» А теперь уберем пафос: возможно, этот ад окажется вполне терпимым, ибо самые гадкие снимки существуют лишь в воображении, а сделаны никогда не были, или хоть и были сделаны, но не были проявлены.

Клепп и я, мы оба в наши первые дни на Юлихерштрассе, когда, поедая спагетти, свели дружбу, не только давали себя фотографировать, но давали и проявить пленку. Я в ту пору вынашивал планы путешествий. Иными словами, я так тосковал, что надумал совершить путешествие, а для этой цели должен был заказать паспорт.

Но поскольку у меня все равно не хватило бы денег, чтобы оплатить полноценное путешествие, включающее Рим, Неаполь или, на худой конец, Париж, я невольно порадовался отсутствию наличности, ибо нет ничего печальнее, чем уезжать в таком подавленном настроении. А поскольку, с другой стороны, у нас обоих все же хватало денег, чтобы ходить в кино, мы с Клеппом принялись посещать кинотеатры, где, учитывая вкусы Клеппа, смотрели вестерны, а следуя моим потребностям – фильмы, в которых проливала слезы Мария Шелл – сестра

милосердия, а Борше как главный врач, едва завершив сложнейшую операцию, играл у распахнутой балконной двери сонаты Бетховена и проявлял чувство ответственности. Мы очень страдали от того, что сеанс длится всего два часа, ибо некоторые программы вполне можно бы посмотреть по второму разу. Частенько после окончания мы вставали и прямиком шли в кассу, чтобы снова взять билет на то же самое представление. Но когда, выйдя из зала, мы видели перед кассой очередь, порой побольше, порой поменьше, у нас пропадала всякая охота. Мы слишком стеснялись, и не только кассирши, но и совершенно посторонних типов, которые с откровенным бесстыдством изучали наши физиономии, чтобы рискнуть и увеличить очередь перед окошечком.

Вот почему мы почти после каждого сеанса шли в фотосалон неподалеку от площади Графа Адольфа, чтобы заказать снимки для паспорта. Нас уже там знали, улыбались, когда мы входили, покорнейше просили садиться, мы были клиенты, а значит, пользовались уважением. И едва освобождалась кабинка, нас туда по очереди заталкивала барышня, о которой я только и помню, что она была миленькая; сперва она одергивала и несколькими движениями приводила в порядок меня, потом Клеппа, велела смотреть в определенную точку, покуда световые вспышки и связанный с ними звонок не извещали, что мы шесть раз подряд запечатлены на пленке.

Едва снявшись, еще чувствуя легкую оцепенелость в уголках губ, мы препровождались в удобные плетеные кресла той же барышней, которая любезно просила нас – очень милая и мило одетая – пять минут подождать. Мы с удовольствием соглашались подождать. В конце концов, нам было чего ждать: снимков на паспорт, которые вызывали у нас живой интерес. Всего через семь минут от силы все такая же миленькая, а в остальном трудно описуемая барышня протягивала нам два конвертика, и мы расплачивались.

О, это чувство торжества в чуть выпученных глазах Клеппа… Едва получив конвертик, мы получали также и повод направиться в ближайшую пивную, ибо никто не захотел бы разглядывать собственные фотографии посреди шумной и пыльной улицы, создавая помехи для потока пешеходов. И так же, как мы хранили верность одному и тому же фотосалону, мы всегда посещали одну и ту же пивную на Фридрихштрассе. Заказывали пиво, кровяную колбасу с луком и черным хлебом, раскладывали еще до того, как принесут заказ, чуть влажные снимки по всему кругу столешницы и за поданной без промедления колбасой и пивом углублялись в напряженные черты собственного лица.

Вообще мы всегда имели при себе фотокарточки, сделанные по поводу последнего похода в кино, и тем самым получали возможность для сравнения; а там, где есть возможность для сравнения, есть и законное право заказать вторую, третью, четвертую кружку пива, чтобы развеселиться или, как говорят рейнландцы, прийти в настроение.

Однако из этого вовсе не следует, что человеку тоскующему возможно при помощи собственной фотографии для паспорта сделать свою тоску беспредметной, ибо истинная тоска уже сама по себе беспредметна, моя во всяком случае, да и для Клепповой тоски тоже не находилось сколько-нибудь внятного объяснения, и своей, можно сказать, бодро-веселой беспредметностью она являла ничем не умаляемую силу. Если и была возможность поладить с собственной тоской, то лишь при помощи фотографий, поскольку в серийно изготавливаемых моментальных снимках мы видели себя пусть и не очень отчетливо, но – а это было важней – пассивными и нейтрализованными. Мы могли обходиться с собой, как нам заблагорассудится, при этом пить пиво, терзать кровяную колбасу, приходить в настроение и – играть. Мы перегибали снимки, складывали их, резали ножницами, каковые постоянно имели при себе для этой цели. Мы совмещали изображения постарше и помоложе, делали себя одноглазыми, трехглазыми, приставляли носы вместо ушей, молчали либо вещали правым ухом и заменяли подбородок лбом. Подобный монтаж совершался не только на основе собственного портрета: Клепп часто заимствовал у моего детали для своего лица, я брал характерное у него: нам удавалось

создать новые и, как мы полагали, более счастливые существа. Время от времени мы дарили кому-нибудь очередной снимок.

У нас – я ограничиваюсь мной и Клеппом, а смонтированные физиономии оставляю в стороне, – у нас вошло в привычку в каждый свой приход – а пивная эта видела нас не реже чем раз в неделю – дарить кельнеру, которого мы называли Руди, по фотографии, и Руди, человек достойный иметь двенадцать собственных детей и опекать еще восьмерых, входил в наше положение и, обладая уже дюжинами снимков в профиль, а того больше – анфас, тем не менее каждый раз, когда после долгого обсуждения и напряженных поисков мы вручали ему очередной снимок, изображал на лице участие и благодарил.

Буфетчице и рыжеволосой девушке с лотком сигарет на ремне Оскар не подарил ни одной своей фотографии: женщинам нельзя дарить фотографии, они используют твой подарок во зло. Клепп же, который при всей своей вальяжности в отношениях с женщинами никогда не мог вовремя остановиться, сообщительный до безрассудства и готовый ради каждой менять рубашку, в один прекрасный день без моего ведома явно подарил девушке, торгующей сигаретами, свою фотографию, ибо обручился с этой задорной соплюхой, а позднее даже женился на ней, дабы вызволить у нее свою карточку.

Но я забежал вперед и посвятил слишком много слов последним страницам альбома. Дурацкие моментальные снимки такого внимания не заслуживают или заслуживают лишь как предмет для сравнения, долженствующего лишний раз показать, насколько великим или недостижимым, насколько высоким в художественном смысле и по сей день представляется мне портрет моего деда Коляйчека на первой странице альбома.

Короткий и широкий, стоит он возле фигурного столика. К сожалению, снялся он не как поджигатель, а как добровольный член пожарной дружины по имени Вранка, и, следовательно, у него нет усов, хотя ловко пригнанная пожарная форма с медалью за спасение и пожарной каской, превращающей столик в алтарь, до некоторой степени заменяют усы поджигателя. Как серьезно, предвидя грядущие скорби на рубеже веков, умеет он смотреть в объектив. Этот, несмотря на весь трагизм, гордый взгляд, вероятно, был весьма любим и распространен в период второй империи, недаром же мы наблюдаем его и у Грегора Коляйчека, выпивохи с Пороховой мельницы, который на снимке выглядит вполне трезвым. С уклоном в мистику – ибо снимали в Ченстохове – аппарат запечатлел Винцента Бронски с освященной свечой в руках. Фото молоденького и тщедушного Яна Бронски, без сомнения, можно воспринимать как добытое средствами начального периода фотографии доказательство меланхолического возмужания.

Женщинам того периода этот взгляд при соответственной позе давался реже. Даже моя бабка Анна, а уж она-то, видит бог, была личностью, украшает себя на карточках перед началом Первой мировой войны глуповатой и ненатуральной улыбкой и не дает ни малейшего представления о ширине своих четырех дарующих прибежище и падающих одна на другую столь немногословных юбок.

Даже в войну они улыбались фотографу, который, щелкая затвором, суетливо выплясывал под своим черным платком. Я имею также на твердом картоне форматом в две почтовые открытки двадцать три боязливых сестрички милосердия, среди них – моя матушка как вспомогательный персонал в госпитале Зильберхаммер, где все они теснятся вокруг сулящего надежную опору штаб-лекаря. Чуть непринужденнее ведут себя госпитальные дамы в поставленной сцене костюмированного бала, где принимают участие и почти исцеленные воины. Матушка позволяет себе прищурить глаза и выпятить губки, как для поцелуя, что, несмотря на ангельские крылышки и волосы из мишуры, должно означать: ангелы тоже не бесполы. Стоящий перед ней на коленях Мацерат избрал костюм, который с превеликой охотой сделал бы своим повседневным: в накрахмаленном поварском колпаке он взмахивает шумовкой. Зато в мундире, при Железном кресте второй степени, он, подобно Коляйчеку и обоим Брон-

ски, смотрит прямо перед собой, полный трагического самосознания, и превосходит женщин на всех фотографиях.

После войны входят в моду другие лица. У мужчин, глядящих в объектив, трафаретный вид, теперь именно женщины умеют подать себя на карточке, именно у них есть причины серьезно глядеть в объектив, именно они, даже улыбаясь, не способны отринуть подмалевку познанной боли. Она была им очень к лицу, печаль женщин двадцатых годов. Неужели они, сидя, стоя, полулежа с приклеенными к вискам крендельками черных волос, не сумеют найти гармонию между Мадонной и продажной женщиной?

Карточка моей двадцатитрехлетней матушки – снятая, вероятно, до ее беременности – показывает нам молодую женщину, которая слегка наклоняет круглую, аккуратной формы голову на гладкой круглой шее, при этом, однако, смотрит прямо на возможного зрителя, которая смягчает чувственность черт уже упоминавшейся горестной улыбкой и парой скорее серых, нежели голубых глаз, привыкших, судя по всему, созерцать души людей и свою собственную тоже, как рассматривают некий твердый предмет, скажем кофейную чашку или кончик сигареты. Словечко «проникновенный», пожелай я описать взгляд своей матушки соответственным прилагательным, едва ли покажется удовлетворительным.

Не более интересны, но легче поддаются оценке, а потому более поучительны групповые снимки тех лет. Просто диву даешься, насколько красивее и новобрачнее выглядели подвенечные платья, когда был подписан Раппальский договор. У Мацерата на свадебной фотографии жесткие воротнички, выглядит он хорошо, элегантно, почти интеллигентно. Правая нога выставлена вперед, возможно от желания походить на какого-нибудь киноактера той поры, на Харри Лидтке к примеру. Платья тогда носили короткие. Подвенечное платье моей подвенечной матушки, белая плиссированная юбка в тысячу складок, едва заходит за колено, открывая ее стройные ножки и изящные ступни в белых туфельках с пряжками. На остальных снимках собрались все свадебные гости. Среди одетых и позирующих по-городскому бабушка Анна и ее взысканный Божией милостью брат Винцент неизменно выделяются своей провинциальной строгостью и внушающим доверие смущением. Ян Бронски, который, подобно моей матушке, родом с того же самого картофельного поля, как и его тетка Анна и его преданный Деве Небесной отец, умеет, однако, скрыть свое деревенское, свое кашубское происхождение за праздничной элегантностью секретаря на Польской почте. Как ни мал и хрупок кажется он, когда стоит среди занимающих много места здоровяков, его необычные глаза, почти женская пропорциональность его лица создают центр любого снимка, даже когда он стоит с краю.

Уже долгое время я рассматриваю некую группу, сфотографированную вскоре после свадьбы. Мне надо взяться за барабан и попытаться, глядя на этот матовый коричневый четырехугольник, заклинаниями палочек по лакированной жести оживить узнаваемое на картоне трехзвездие. Возможность сделать этот снимок представилась на углу Магдебургерштрассе и Хересангер возле общежития для польских студентов, – иными словами, в квартире семейства Бронски, ибо он демонстрирует заднюю сторону озаренного солнцем, наполовину закрытого вьющейся фасолью балкона той модели, которую строители любили налеплять на квартиры Польской слободы. Матушка сидит. Мацерат и Ян Бронски стоят. Но любопытно поглядеть, как она сидит и как они оба стоят! Было время, когда я по наивности пытался с помощью циркуля, за которым посылал Бруно в лавку, линейки и угольника измерить расстановку сил в этом триумвирате – да, да, триумвирате, ибо матушка вполне заменяла мужчину. Угол наклона шеи – неравнобедренный треугольник, это привело к будущему смещению параллелей, к насильственному совпадению при наложении, к оборотам циркуля, каковые судьбоносно встречались уже за пределами треугольника, то есть на фоне зеленых побегов фасоли, образуя точку пересечения, а я и отыскивал точку, был исполнен веры в точки, исполнен тяги к точкам опоры, исходным точкам, а то и вовсе к точкам зрения.

Эти дилетантские обмеры не привели ни к чему, кроме едва заметных и в то же время раздражающих дырок, которые произвела ножка циркуля на важнейших местах столь бесценного снимка. Что ж в нем такого особенного, в этом снимке? Что побудило меня искать математические и – того нелепее – космические ассоциации, не только искать, но и находить, если угодно? Три человека, сидящая женщина, двое стоящих мужчин. У нее – укладка на темных волосах, у Мацерата – светлые кудри, у Яна – гладко зачесанные назад каштаново-русые волосы. Все трое улыбаются, Мацерат больше, чем Ян Бронски, оба вместе открывают верхние зубы в пять раз больше, чем матушка, у которой лишь тень улыбки притаилась в уголках рта, а в глазах нет и следа улыбки. Мацерат возложил левую руку на правое плечо матушки, Ян же довольствуется легким возложением на спинку стула своей правой руки. Она, повернув колени вправо, сидя вполне прямо, на коленях держит некую тетрадку, которую я долгое время принимал за альбом Яна с марками, позднее – за модный журнал, наконец – за коллекцию портретов знаменитых актеров из сигаретных пачек. Руки матушки выглядят так, словно надумали перелистнуть страницу, едва изображение окажется на фотопластинке и снимок будет сделан. Все трое выглядят вполне счастливыми, поддерживая друг друга, дабы быть неуязвимыми при неожиданностях, которые могут возникнуть, если кто-нибудь из партнеров по тройственному союзу заведет собственные тайны или уже скрывает их с самого начала. Будучи связаны друг с другом, они не могут обойтись без четвертого участника, а именно без жены Яна Хедвиг Бронски, урожденной Лемке, которая об эту пору уже, возможно, ждала родившегося позже Стефана, – не могут в том смысле, что она должна направлять на них, и тем самым на счастье этих троих, объектив фотоаппарата, дабы удержать это тройное счастье по крайней мере средствами фотографии.

Я извлекал из альбома и другие четырехугольники и прикладывал их к этому. Снимки, на которых можно узнать либо матушку с Мацератом, либо матушку с Яном Бронски. Но ни на одном из снимков неотвратимое, единственно оставшееся решение не читается так отчетливо, как на этом «балконном» снимке. Ян и матушка на одной карточке – здесь веет трагедией, золотоискательством, чрезмерностью, которая оборачивается пресыщением, и пресыщением, которое влечет за собой чрезмерность. Мацерат рядом с матушкой: тут сочится по капле потенциал воскресений, тут скворчит шницель по-венски, тут немного воркотни перед трапезой, тут немного зевоты после еды, тут необходимость перед сном рассказать друг другу анекдоты или припомнить налоговую декларацию, дабы брак обрел духовную основу. И однако же я предпочитаю эту запечатленную на фотографии тоску отвратному моментальному снимку более поздних лет, запечатлевшему матушку на коленях у Яна Бронски на фоне Оливского леса неподалеку от Фройденталя. Эта непристойность – Ян запустил руку матушке под платье – выражает лишь безрассудную страсть несчастной, с первого же дня брака с Мацератом прелюбодействующей парочки, для которой, как я предполагаю, Мацерат выступил в качестве безучастного фотографа. Нет и следа того спокойствия, тех осторожно сознательных жестов, которые мы наблюдаем на «балконном» снимке и которые, вероятно, возможны лишь тогда, когда оба мужчины стоят позади матушки, рядом с ней, либо лежат у ее ног, как на пляже в Хойбуде (см. фотографию).

Есть и еще один четырехугольник, который показывает мне трех самых главных людей моих первых лет, образующих треугольник. Пусть здесь и не достигнута та степень концентрации, что на «балконном» снимке, он тем не менее излучает все тот же чреватый напряжением мир, который, пожалуй, нельзя ни заключить, ни подписать иначе как между тремя участниками. Можно сколько угодно браниться по поводу излюбленной темы треугольника на театре, но если на сцене всего два человека, то что им прикажете делать, кроме как до смерти задискутироваться или втайне мечтать о третьем. Так вот, на моей картинке их трое. Они играют в скат. Вернее сказать, они держат свои карты как хорошо подобранные веера, но смотрят не на свои козыри, как полагается, чтобы назначить игру, а в объектив. Рука Яна, если не считать

воздетого указательного пальца, плоско лежит на столе, рядом с мелочью, Мацерат впился ногтями в скатерть. Матушка позволяет себе небольшую и, как мне думается, вполне удачную шутку: она приоткрыла одну карту и показала ее фотографу, но так, что другие игроки не могли ее увидеть. Как легко, оказывается, одним-единственным жестом, одной лишь приоткрытой дамой червей возродить древний таинственный символ: кто из нас не клялся в верности своей даме сердца?

Скат – а в него, как известно, можно играть лишь втроем – для матушки и обоих ее партнеров был не только наиболее подходящей игрой, но и прибежищем, той самой тихой гаванью, в которой они укрывались всякий раз, когда жизнь соблазняла их наконец создать пару – все равно в каком сочетании – и играть в дурацкие игры типа «шестьдесят шесть» или «пьяница».

Но теперь оставим тех троих, что произвели меня на свет, хотя у них и так всего было достаточно. Прежде чем перейти к самому себе, несколько слов про Гретхен Шефлер, мамину подружку, и ее пекаря, равно как и законного супруга Александра Шефлера. Он – лыс, она демонстрирует в улыбке лошадиную челюсть, состоящую преимущественно из золотых зубов. Он – коротконог и, сидя на стуле, никогда не достает ногами ковра. Она в платьях собственной вязки, на которых всегда слишком много узоров. Позднее – фотографии обоих Шефлеров в шезлонгах или на фоне спасательных шлюпок парохода «Вильгельм Густлов», принадлежащего обществу «Сила через радость», либо на прогулочной палубе «Танненберга» от морского судоходства Восточной Пруссии. Каждый год они совершали путешествие на пароходе и привозили из Пиллау, Норвегии, с Азорских островов, из Италии в целости и сохранности сувениры домой, на Кляйнхаммервег, где он пек булочки, а она отделывала наволочки кружевами «мышиные зубки». Когда Александр Шефлер молчал, он безостановочно увлажнял кончиком языка верхнюю губу, а друг Мацерата, зеленщик Грефф, живущий от нас наискосок, осуждал такую манеру держать себя как непристойную.

Хоть Грефф и состоял в браке, он был более вождь скаутов, нежели супруг. Фотография показывает его, широкоплечего, поджарого, здорового, в форме с короткими штанами, со шнурами, как положено вождю, и в шляпе скаута. Рядом, в такой же экипировке, стоит белокурый, пожалуй чересчур глазастый, мальчуган лет примерно тринадцати; Грефф положил левую руку ему на плечо и, в знак благосклонности, прижимает к себе. Мальчишку я не знал, а Греффа мне еще предстояло узнать и понять через его жену Лину.

Я увяз в снимках туристов, путешествующих с помощью «Силы через радость», и свидетельствах нежной эротики скаутов. Хочу быстро перевернуть несколько страниц и обратиться к себе, к своему первому фотографическому изображению.

Я был красивым ребенком. Снимок сделан на Троицу в двадцать пятом году. Мне исполнилось тогда восемь месяцев, меньше на два месяца, чем Стефану Бронски, который изображен на соседней странице, на карточке того же формата, и излучает несусветную заурядность. У открытки – волнистый, как бы искусно оборванный край, обратная сторона разлинована для адреса – вероятно, было отпечатано много экземпляров для семейного употребления. Вырез на странице альбома демонстрирует посреди горизонтально расположенного прямоугольника овал чересчур симметричного яйца. Голый, очевидно символизируя желток, я лежу на животе, на белой шкуре, которую, вероятно, какой-нибудь белый медведь ссудил какому-нибудь восточноевропейскому фотографу-профессионалу, специализирующемуся на детских снимках. Для моего первого изображения, как и для многих снимков того времени, был безошибочно избран теплый коричневатый тон, который не спутаешь ни с каким другим и который мне хотелось бы назвать человечным, в отличие от бесчеловечно гладких черно-белых снимков наших дней. Тускло-расплывчатая, должно быть прорисованная, листва создает темный, кое-где разбитый бликами света задний план. В то время как мое гладкое здоровое тельце в плоском спокойствии чуть наискось возлежит на шкуре, поддаваясь воздействию полярной

родины белого медведя, сам я с усилием поднимаю круглую, как шар, детскую головку и гляжу на потенциального наблюдателя блестящими глазами.

Можно бы сказать: фотография – как все детские фотографии. Но посмотрите, пожалуйста, на мои руки, и вам придется признать, что мое первое изображение принципиально отличается от бесчисленных изображений, в равной мере демонстрирующих по разным альбомам очарование детства: я лежу со сжатыми кулаками. Не пухленькие пальчики-сардельки, которые самозабвенно, повинуясь хватательному инстинкту, играют космами медвежьей шкуры, а серьезно сжатые маленькие хваталки парят по обеим сторонам головы, вечно готовые в любую минуту опуститься, задать тон. Какой, спрашивается, тон? Да барабанный же!

Покамест его нет еще в поле зрения, его, который при свете лампочек был мне обещан к третьему дню рождения, но для специалиста по фотомонтажу не составило бы ни малейшего труда приделать соответственное, то есть уменьшенное изображение детского барабана, не предпринимая никаких изменений в моей позе. Пришлось бы разве что убрать глупого и ненужного тряпичного зверя. Он и без того выглядит как чужеродный элемент в этой, в общем-то, удавшейся композиции, чьей темой является тот проницательный, сметливый возраст, когда режутся первые зубки.

Впоследствии меня больше не укладывали на шкуру белого медведя. Мне было, надо полагать, полтора года, когда меня в коляске с высокими колесами поставили на фоне дачного забора, зубцы и поперечник которого столь точно повторены снежным покровом, что я должен отнести этот снимок к январю двадцать шестого. Грубая, пахнущая просмоленной доской конструкция забора, если долго ее рассматривать, ассоциируется у меня с пригородом Хохштрис, в чьих обширных казармах первоначально были расквартированы гусары маккензеновского полка, а уже в мое время – полиция Вольного города. Но поскольку моя память не сохранила ни одного имени, связанного с этим пригородом, остается предположить, что снимок сделан во время разового визита моих родителей к людям, которых я позже не видел либо видел лишь мельком.

Ни матушка, ни Мацерат, поставившие коляску между собой, несмотря на холодное время года, не надели зимних пальто. Напротив, на матушке – русская блуза с длинными рукавами и вышитым орнаментом, которые придают зимнему снимку вот какой вид: это в глубинах России снимают царскую фамилию, Распутин держит аппарат, я – царевич, а за забором притаились меньшевики и большевики и, мастеря самодельные бомбы, принимают решение о гибели моего самодержавного семейства. Корректное, среднеевропейское и, как станет ясно лишь впоследствии, судьбоносное мещанство Мацерата смягчает остроту насилия у притаившейся в снимке злодейской баллады. Люди посетили мирный Хохштрис, ненадолго, даже не надевая зимних пальто, вышли из гостеприимной квартиры, попросили хозяина сфотографировать их с веселым, как и положено, Оскаром посредине, чтобы сразу после этого вернуться в тепло, к сластям и прочим приятностям жизни за кофе с пирожными и взбитыми сливками.

Сыщется еще добрая дюжина моментальных снимков лежащего, сидящего, ползущего, бегущего, годовалого, двухлетнего, двух с половиной летнего Оскара. Все снимки более или менее удачные и представляют собой предварительную стадию того портрета во весь рост, который заказали по поводу моего третьего дня рождения.

Здесь, на этом снимке, я уже получил его, свой барабан. Здесь он висит у меня на животе, с белыми и красными зубцами. Здесь я с чувством собственного достоинства и с серьезной решимостью на лице скрещиваю над жестью деревянные палочки. Здесь на мне полосатый пуловер. Здесь я щеголяю в блестящих лаковых туфельках. Здесь и мои волосы, как щетка, желающая что-нибудь почистить, ежиком стоят у меня на голове, а в моих голубых глазах, в каждом из них, светится жажда власти, не желающая ни с кем ее делить. Здесь мне удалось занять позицию, изменять которой у меня нет ни малейшего повода. Здесь я сказал, здесь я решился, здесь принял решение никоим образом не становиться политиком и уж подавно

не торговать колониальными товарами, а напротив, поставить точку и навсегда остаться таким – вот таким я и остался, задержался на этих размерах, в этой экипировке на долгие годы.

Большие люди и маленькие люди, Большой Бельт и Малый Бельт, буквы большие и буквы маленькие, карлики и Карл Великий, Давид и Голиаф, Мальчик-с-пальчик и гвардейцы-великаны; я же остался трехлеткой, гномом, карапузом, вечным недомерком, чтобы меня не заставляли разбираться в малом и в большом катехизисе, чтобы мне не стать большим, достигнув роста метр семьдесят два, не стать так называемым взрослым и не угодить в руки человека, который, бреясь перед зеркалом, сам себя называет моим отцом, чтобы не взваливать на себя обязательства перед лавкой, которая по желанию Мацерата в качестве лавки колониальных товаров должна была означать для Оскара, когда тому минет двадцать один год, мир взрослых. Чтобы не пришлось мне щелкать кассовым аппаратом, я уцепился за барабан и с третьего дня рождения не вырос ни на один дюйм, остался трехлетним, но по меньшей мере трех пядей во лбу, которого все взрослые превзошли ростом, который всех взрослых превзошел умом, который не хотел сравнивать свою тень с их тенями, который завершил свое развитие, как внутреннее, так и внешнее, тогда как взрослые и в глубокой старости продолжают лепетать о развитии, который без усилий постигал то, что другим давалось с превеликим трудом, а порой и через мучения, у которого не было надобности каждый год носить штаны и ботинки все больших размеров с единственной целью подтвердить процесс роста.

Но при этом – тут даже сам Оскар не может отрицать процесса развития – у него все-таки росло нечто, и не всегда мне на пользу, росло, достигло в конце концов мессианских размеров; только кто из взрослых в мое время присматривался, кто прислушивался к неизменно трехлетнему барабанщику Оскару?

Стекло, стакан, стопарик

Если я только что дал описание снимка, где во весь рост представлен Оскар, его барабан и барабанные палочки, и попутно открыл вам, какие давно вызревшие решения окончательно – покуда его фотографировали – принял Оскар, созерцая праздничное застолье вокруг пирога с тремя свечками, я считаю своим долгом, когда альбом уже безмолвно лежит возле меня в закрытом виде, упомянуть о тех обстоятельствах, которые хоть и не объясняют мое затянувшееся трехлетие, однако же – спровоцированные мной – имели место.

Мне с первой минуты было ясно: взрослые не поймут тебя, если ты не будешь расти так, чтобы они это могли видеть, припишут тебе задержку в развитии и начнут таскать тебя и свои деньги от одного врача к другому в поисках если и не твоего выздоровления, то по крайней мере объяснения твоей болезни. Стало быть, чтобы свести консультации к терпимому минимуму, от меня требовалось, прежде чем врач даст какое-то объяснение, подыскать со своей стороны уважительную причину для задержки роста.

Солнечный сентябрьский день, мой третий день рождения. Нежные стеклянные пузыри позднего лета, даже смех Гретхен Шефлер звучит не так резко. Матушка за фортепиано наигрывает из «Цыганского барона», позади стула-вертушки, за спиной у матушки, стоит Ян, касаясь ее плеча и якобы изучая ноты. Мацерат уже собирает ужин на кухне. Бабушка Анна с Хедвиг Бронски и Александром Шефлером плотней придвигаются к зеленщику Греффу, ибо тот знает много историй, скаутских историй, по ходу которых неизменно проявляются верность и сила духа; прибавьте к этому напольные часы, которые не пренебрегают ни единой четвертью часа в тончайшей вязи сентябрьского дня. А поскольку все, подобно часам, были заняты делом и от венгерской земли, где подвизался цыганский барон, через шагающих по греффовским Вогезам скаутов протянулась незримая линия мимо Мацератовой кухни, где на сковороде устрашающе шипели кашубские лисички с яйцом и шпиком, по коридору к лавке, я двинулся туда же, тихонько погромыхивая на своем барабане, и оказался за прилавком, подальше от пианино, лисичек и Вогезов, приметив, что крышка погреба откинута, – видно, Мацерат, который лазил туда, чтобы достать банку со смешанным компотом на сладкое, забыл ее захлопнуть.

И все же мне понадобилась целая минута, прежде чем я понял, чего от меня требует незахлопнутая крышка нашего погреба. Не самоубийства. Боже избави! Это было бы чересчур просто. Но другое было трудным, было болезненным, требовало от меня жертвы, и уже в тот день, как и потом всякий раз, когда от меня требовалась очередная жертва, лоб мой покрылся испариной. Самое главное – чтобы не пострадал барабан, поэтому для начала следовало снести его вниз по шестнадцати щербатым ступеням и разместить между мешков с мукой, объясняя этим впоследствии, почему барабан остался невредим. Потом снова подняться до восьмой ступеньки, нет, пожалуй, на одну ниже, или нет, сгодится и пятая. Но, падая с этой ступени, трудно сочетать надежность с убедительностью увечий. Поднимемся выше, нет, это слишком высоко – десятая снизу ступенька, и наконец я рухнул с девятой, головой вперед, на цементный пол нашего погреба, увлекая за собой целую батарею бутылок с малиновым сиропом.

Еще до того, как задернулась гардина, закрывшая мое сознание, я мог убедиться в успехе своего эксперимента: умышленно сброшенные бутылки с малиновым сиропом произвели шум, достаточный для того, чтобы выманить Мацерата из кухни, матушку – от пианино, остальную часть общества – с Вогезов в нашу лавку.

Но прежде чем подоспели они, сам я успел поддаться запаху пролитого сиропа, удостовериться, что из головы у меня течет кровь, а вдобавок, когда они уже вступили на лестницу, поразмышлять над вопросом, что нагоняет на меня такую усталость – то ли кровь Оскара, то ли сладкий сироп, и, однако, испытать величайшую радость, поскольку все удалось как нельзя лучше, а барабан, благодаря предпринятым мерам предосторожности, остался цел и невредим.

Помнится, Грефф вынес меня наверх. Лишь в гостиной Оскар выплыл из своего облака, которое, вероятно, наполовину состояло из малинового сиропа, а наполовину – из его детской крови. Врач еще не подоспел, матушка кричала, несколько раз ударила пытавшегося ее успокоить Мацерата ладонью, а потом и тыльной ее стороной по лицу и обозвала убийцей.

Итак – и врачи снова и снова подтвердили мою правоту, – благодаря единственному, хоть и не безболезненному, но хорошо рассчитанному, падению с лестницы я получил не только крайне важное для взрослых объяснение приостановки моего роста, но вдобавок превратил доброго и безобидного Мацерата в Мацерата повинного. Это он не захлопнул крышку погреба, это на него матушка взвалила всю вину, и он пронес сознание этой вины, в которой матушка упрекала его хоть и не часто, но неуклонно, через вереницу лет.

Мне же падение обеспечило четыре недели на больничной койке, а потом, если не считать визитов по средам к доктору Холлацу, относительную свободу от врачей; уже в первый мой барабанный день мне удалось подать миру знак, и случай мой был разъяснен еще прежде, чем взрослые смогли уразуметь истинное, мною предопределенное положение дел. В дальнейшем говорилось так: как раз в день своего рождения наш маленький трехлетний Оскар свалился с лестницы, и хотя ничего себе не сломал, но расти после этого перестал.

И начал я барабанить. В нашем доходном доме было пять этажей, и от первого этажа до чердачных закоулков я барабанил вверх и вниз по лестнице. От Лабесвег к Макс-Хальбе-плац, оттуда на Нойшотланд, Антон-Мёллер-вег, Мариенштрассе, Кляйнхаммерпарк, Акционерную пивоварню, Акционерный пруд, Фребелевский луг, школу Песталоцци, Новый базар и снова – Лабесвег. Мой барабан хорошо это выдерживал, взрослые – хуже, они хотели заткнуть глотку моему барабану, хотели подставить ножку моим палочкам – но обо мне позаботилась природа.

Способность при помощи жестяного детского барабана набарабанить необходимую дистанцию между мной и взрослыми вызрела вскоре после моего падения с лестницы, и почти сразу же у меня прорезался голос, давший мне возможность петь вибрато на таких высоких нотах, или кричать, или петь крича, что никто не рисковал более отбирать у меня барабан, от которого закладывало уши, ибо, если кто-нибудь пытался схватить его, я начинал кричать, а когда я кричал, ценные вещи разлетались на куски: мой крик убивал цветочные вазы, мое пение крушило оконные стекла и передавало власть сквозняку, мой голос, подобно целомудренному, а потому и не ведающему сострадания алмазу, резал стеклянные горки, чтобы в их глубинах, не теряя при этом своей невинности, надругаться над гармоничными, благородно закругленными, подаренными любящей рукой и покрытыми легким налетом пыли ликерными рюмочками.

Прошло немного времени, и мои способности стали широко известны на нашей улице, от Брёзенервег до поселка при аэродроме, – короче, во всем квартале. Стоило соседским детям, чьи игры типа «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать», либо «Где у нас кухарка, Черная кухарка?», или «Что я вижу, ты не видишь» меня не привлекали, завидеть меня, как целый хор немытых рож начинал вопить:

Стекло, стакан, стопарик,
Сахар есть, пива нет – очень жаль.
Госпожа Метелица зажжет свой фонарик
И сядет за рояль.

Без сомнения, дурацкие, лишенные смысла припевки. Но меня они не смущали, когда вместе с моим барабаном я шагал сквозь «Госпожу Метелицу», заимствуя примитивный, но не лишенный приятности ритм, выбивал «Стекло, стакан, стопарик» и, не будучи крысоловом, увлекал за собой детей.

Впрочем, и сегодня, когда Бруно намывает окно в моей комнате, я выделяю этой песенке и этому ритму местечко на своем барабане.

Куда несноснее, чем дразнилки соседских детей, куда огорчительнее, особенно для моих родителей, оказался тот дорогостоящий факт, что на меня или, точнее сказать, на мой голос начали сваливать любое окно, разбитое в нашем квартале наглыми, невоспитанными хулиганами. Поначалу матушка добродетельно оплачивала все, по большей части разбитые с помощью рогаток, кухонные окна, потом, уразумев наконец особенности моего голоса, она, прежде чем возмещать убытки, начала требовать доказательств, и при этом у нее делались холодные деловые глаза. А люди, живущие по соседству, и впрямь были ко мне несправедливы. Ничто в этот период не могло быть несправедливее, чем утверждать, будто виной всему – живущий во мне детский дух разрушения, что я испытываю ничем не объяснимую ненависть к стеклу и стеклянным изделиям, как и другие дети порой в приступах бешенства дают выход своим темным и бессмысленным антипатиям. Лишь тот, кто занят игрой, разрушает умышленно. Я же никогда не играл, я работал на своем барабане, а что до голоса, то первоначально я употреблял его лишь в пределах необходимой обороны. Только опасения за мою работу на барабане вынуждали меня целенаправленно пускать в ход голосовые связки. Будь я наделен способностью тем же методом и теми же звуками резать унылые, закрытые сплошной вышивкой, порожденные художественной фантазией Гретхен Шефлер скатерти или отслаивать с поверхности пианино темный лак, я бы куда как охотно оставил в покое все стеклянное. Но скатерти и лак были равнодушны к моему голосу. Точно так же не мог я даже с помощью нескончаемого крика стереть узоры с обоев, как не мог с помощью двух протяжных, нарастающих, трущихся друг о друга, будто в каменном веке, тонов добыть тепло, потом жар и, наконец, искру, необходимую для того, чтобы на обоих окнах гостиной занялись декоративным пламенем пересохшие, пропитанные табачным духом гардины. Ни у одного стула, на котором сидел Александр Шефлер или Мацерат, я не мог своим голосом «отпеть» ножку. Право же, я предпочел бы защищаться не столь чудесными и более безобидными средствами, но безобидных средств в моем распоряжении не было, одно только стекло покорялось мне и несло свой крест.

Первую успешную демонстрацию этой способности я провел вскоре после своего третьего дня рождения. Барабан принадлежал мне уже четыре недели с хвостиком, и за это время при моем усердии я пробил его до дыр. Правда, бело-красные зубцы обечайки еще удерживали вместе верх и низ, но дыру в центре звучащей стороны уже трудно было не заметить, и – поскольку я презирал нижнюю сторону – эта дыра становилась все больше, по краю пошли острые зазубрины, стертые от игры частички жести осыпались и провалились внутрь барабана, где недовольно звякали при каждом ударе, и повсюду – на ковре гостиной и на красно-бурых полах в спальне – поблескивали белые частички лака, которые не пожелали долее удерживаться на истерзанной жести моего барабана.

Родители боялись, как бы я не порезал себе руки об угрожающе острые жестяные края. Особенно Мацерат, который после моего падения с лестницы громоздил одну меру предосторожности на другую. Поскольку, активно размахивая руками, я мог и в самом деле задеть острые края, опасения Мацерата были хоть и преувеличены, но не лишены оснований. Правда, с помощью нового барабана можно было избегнуть всех грозящих мне опасностей, но они вовсе и не помышляли о новом барабане, а просто хотели отобрать у меня мою добрую старую жестянку, которая вместе со мной падала, вместе лежала в больнице и была оттуда выписана, вместе – вверх-вниз по лестнице, вместе – на булыжной мостовой и на тротуарах, сквозь «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать», мимо «Что я вижу, ты не видишь», мимо «Где у нас кухарка, Черная кухарка?», – отобрать и ничего не дать взамен. Дурацкий шоколад должен был служить приманкой. Мама протягивала его мне и при этом складывала губки бантиком. Именно Мацерат с напускной строгостью ухватился за мой раненый инструмент, а я вцепился в моего инвалида. Мацерат потянул его к себе, а силы мои, достаточные лишь для того, чтобы

барабанить, были уже на исходе. Один красный язычок пламени за другим медленно ускользал из моих рук, вот и круглая обечайка готовилась покинуть меня, но тут Оскару, который до того дня слыл вполне спокойным и, можно сказать, слишком благонравным ребенком, удался его первый разрушительный и действенный крик. Круглое граненое стекло, защищавшее медово-желтый циферблат наших напольных часов от пыли и умирающих мух, разлетелось на куски, упало – причем некоторые куски в падении сломались еще раз – на красно-коричневый пол, ибо ковер не доставал до подножия часов. Впрочем, внутреннее устройство дорогого механизма ничуть не пострадало. Маятник спокойно продолжал свой путь – если про маятник можно так сказать, то же делали и стрелки. И даже механизм боя, обычно крайне чувствительно, я бы даже сказал истерически, реагирующий на каждый толчок, на проезжающие мимо пивные фургоны, даже он никак не воспринял мой крик; разлетелось только стекло, но уж зато оно разлетелось вдребезги.

«Часы пропали!» – вскричал Мацерат и выпустил барабан из рук. Беглый взгляд убедил меня, что мой крик не причинил собственно часам никакого вреда, что погибло лишь стекло. Однако для Мацерата, как и для матушки, и для дяди Яна, который в тот день нанес нам воскресный визит, судя по их поведению, погибло нечто большее, нежели простое стекло. Побледнев, они смотрели друг на друга беспомощно растерянным взглядом, ощупывали изразцовую печь, держались за буфет и за пианино, не смели сдвинуться с места, и Ян Бронски, умоляюще закатив глаза, шевелил сухими губами, так что я и по сей день полагаю, будто усилия дяди Яна были адресованы молитве, взывающей о помощи и сострадании, как, например, «О агнец Божий, ты искупаешь грехи мира, смилуйся же над нами», – и это три раза подряд, а потом и еще: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи хоть слово…»

Господь, разумеется, не сказал ни слова, да и не часы это сломались, а только стекло. Однако взрослые очень странно относятся к своим часам, странно и по-детски в том смысле, в котором лично я никогда ребенком не был. Хотя часы, быть может, самое великолепное творение взрослых, но дело обстоит так: в той же мере, в какой взрослые способны быть творцами и, при наличии усердия, честолюбия и некоторой доли везения, таковыми становятся, они, едва сотворив нечто, сами превращаются в творения своих эпохальных открытий.

Притом часы, как сейчас, так и прежде, ничего не стоят без взрослого человека. Он их заводит, переводит вперед, отводит назад, несет их к часовщику, чтобы тот проверил правильность хода, почистил и, в случае надобности, починил. Как и крику кукушки, который слишком рано обрывается, опрокинутой солонке, пауку поутру, черным кошкам, перебежавшим дорогу слева направо, писанному маслом дядиному портрету, который падает со стены, потому что разболтался крюк, вбитый в штукатурку, разбитому зеркалу, так и часам и тому, что за ними стоит, взрослые придают большее значение, чем имеют собственно часы.

Матушка, несмотря на некоторые мечтательно-романтические черты, наделенная трезвым взглядом и по склонности к легкомыслию умеющая истолковать любую сомнительную примету в положительном для себя смысле, нашла спасительное слово. «Стекло бьется к счастью!» – воскликнула она, прищелкивая пальцами, затем принесла совок и метелочку и вымела все осколки, или все счастье.

Если принять на веру слова матушки, я принес своим родителям, родственникам, знакомым, а также незнакомым людям премного счастья, ибо у каждого, кто пытался отнять мой барабан, я раскричал, распел, расколол оконные стекла, пустые бутылки из-под пива, дышащие весной флакончики духов, хрустальные вазы с искусственными плодами – короче, все, что было стеклянным, все, что было произведено дыханием стеклодува на стекольных заводах, порой имея стоимость простого стекла, порой, однако, расцениваясь как произведение искусства.

Чтобы не натворить слишком много бед, ибо мне и тогда нравились, и по сей день нравятся изящные стеклянные изделия, я, когда у меня вечером хотели отнять мой бара-

бан, хотя ему, барабану, следовало ночью лежать вместе со мной в кроватке, разрушал одну или несколько лампочек в нашей четырежды проливающей свет люстре под потолком. Именно так на свой четвертый день рождения, в начале сентября двадцать восьмого года, я поверг все праздничное общество – родителей, супругов Бронски, бабушку Коляйчек, Шефлеров и Греффов, которые натащили мне кучу всяких подарков, оловянных солдатиков, парусный кораблик, пожарную машину, но только не барабан, – словом, поверг их всех, предпочитавших, чтобы я забавлялся с оловянными солдатиками, чтобы я счел достойной игры бессмысленную пожарную машину, не желавших оставить меня при моем старом, дырявом, но верном барабане, отбиравших у меня жесть, но вместо того совавших мне в руки кораблик, помимо всего прочего еще и непрофессионально оснащенный, всех, имеющих глаза лишь затем, чтобы не видеть моих желаний, – их всех я поверг своим криком, который, обежав по кругу, убил четыре лампы нашего висячего светильника, в допотопную тьму.

Но уж таковы они, взрослые: после первых испуганных криков, после исступленного желания вернуть свет они освоились с темнотой, и, когда моя бабушка Коляйчек, единственная – если не считать маленького Стефана, – кто не знал, на кой ей сдалась эта темнота, вместе с хныкающим Стефаном, который держался за ее подол, сходила в лавку за свечами и озарила комнату их светом, остальная, изрядно подвыпившая часть компании оказалась разбитой на странные парочки.

Ну, мамаша моя, как и следовало ожидать, в расхристанной блузке сидела на коленях у Яна Бронски. Крайне неаппетитное зрелище являл коротконогий пекарь, почти исчезнувший в Греффихе, Мацерат облизывал золотые и лошадиные зубы Гретхен Шефлер. Одна лишь Хедвиг Бронски сидела в пламени свечи с набожным коровьим взглядом, руки сложила на коленях, сидела близко, но отнюдь не слишком к зеленщику Греффу, который хоть и не выпил, но все же пел, пел сладким голосом, пел, распространяя грусть и меланхолию, пел, подбивая Хедвиг Бронски ему подпевать. Они пели на два голоса песню скаутов, где некий Рюбецаль вынужден бродить в Исполиновых горах.

А про меня забыли. Оскар сидел под столом с останками своего барабана, он извлек еще несколько ритмов из пробитой жести, и вполне возможно, что нечастые, но равномерные звуки барабана были не лишены известной приятности для тех, кто, перемешавшись в упоении, лежал или сидел в комнате. Ибо барабан словно защитным слоем перекрывал все чмокающие и сосущие звуки, невольно издаваемые теми, кто демонстрировал напряженные и лихорадочные доказательства своих усилий.

Я оставался под столом, когда со свечами вернулась бабушка, подобно гневному архангелу узрела в пламени свечи Содом, признала в пламени свечи Гоморру и с задрожавшими в ее руках свечами подняла крик, устроила скандал и, назвав все это свинством, положила конец идиллии о том, как прогуливается Рюбецаль по Исполиновым горам, потом, расставив свечи по блюдечкам, достала карты из буфета, кинула их на стол и, попутно утешая все еще хнычущего Стефана, провозгласила вторую часть праздника. Вскоре Мацерат ввинтил новые лампочки в старые патроны нашего висячего светильника, наверху задвигались стулья, защелкали, подпрыгивая, пробки от пивных бутылок, и над моей головой зашлепали по столу карты – скат по одной десятой пфеннига. Матушка сперва предложила по четверти, но дяде Яну это показалось слишком рискованным, и, если бы не очередные партии, да при случае гранд с четырьмя время от времени весьма значительно не повышали ставки, все так бы и остались при крохоборской одной десятой.

Я неплохо себя чувствовал под столешницей, укрытый от сквозняков свисающей скатертью, легким барабанным боем отвечал кулакам, которые над моей головой грохотали по столу, я подчинился ходу игры и вылез наружу примерно через час. Ян Бронски проиграл. Карты ему достались хорошие, тем не менее он проиграл. И не диво, что он был так рассеян: голова у него была занята не бубнами без двух. Ведь в начале игры, еще беседуя со своей теткой и стараясь

как-то оправдать предшествующую их разговору небольшую оргию, он скинул с левой ноги полуботинок, протянул над моей головой левую ногу в сером носке, поискал колено матушки, которая сидела как раз напротив, и нашел его. После прикосновения левой ноги Яна матушка подсела поближе к столу, так что Ян, которого как раз провоцировал Мацерат и который решил пасовать при тридцати трех, приподнял край ее платья, сперва пальцами, потом всей ступней в носке, а носок, к слову сказать, был почти чистый, надет не далее как сегодня, и устроился у нее между ногами. Можно только восхищаться моей матушкой, которая, несмотря на шерстяные прикосновения под столом, выиграла над столом, поверх туго натянутой скатерти самую что ни на есть рискованную игру, в том числе – трефы без четырех, выиграла уверенно и с юмористическими комментариями, в то время как Ян, становясь все более предприимчивым внизу, проиграл несколько партий наверху, да таких, которые даже Оскар довел бы до победного конца с уверенностью сомнамбулы. Позднее усталый Стефан тоже перебрался под стол, где вскоре заснул, так и не поняв перед сном, что это делает брючина его папаши под юбкой у моей мамаши.

Ясно, временами облачно. Во второй половине дня незначительные осадки. На другой день снова пришел Ян Бронски, забрал предназначенный для меня подарок, парусный кораблик, выменял эту унылую игрушку у Сигизмунда Маркуса в Цойгхаус-пассаже на жестяной барабан, явился ближе к вечеру, слегка промокший, с тем самым бело-красным, столь любезным моему сердцу барабаном, протянул его мне и одновременно схватил мою добрую старую жестянку, на которой сохранились лишь чешуйки бело-красного лака. И покуда Ян хватал отслужившую свое жесть, а я хватался за новую, все они, Ян, матушка, Мацерат, не сводили глаз с Оскара – я даже не мог сдержать невольной улыбки: неужели они думают, что я держусь за устаревшее, что я таю в груди какие-то принципы?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.